

Крестинский Александр Алексеевич

Мальчики из блокады (Рассказы и повесть)

СОДЕРЖАНИЕ:

РАССКАЗЫ

ДОВОЕННЫЕ МОИ ИГРЫ

МАРТЫН И ШАЛУПЕЙКА

ГНОМ

НАША С ВОЛЬКОЙ БОРЬБА

БЕЛАЯ ДВЕРЬ В АКТОВЫЙ ЗАЛ

А ПОТОМ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА. Повесть

МАТРОС, ДЕВОЧКА И КАВАЛЕР

ЗАНАВЕС РАЗДВИГАЕТСЯ

ИГРЫ НА ГОРОДСКОМ ДВОРЕ

А ПОТОМ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

СЕРДЦЕ УРАГАНА

КОРАБЛЬ

БЕЛЫЙ ПОЛУШУБОК

СКОЛЬКО РАЗ ПРОЩАЕТСЯ

ТЫ БОЛЕН, МАЛЬЧИК

МАТРОС И ПУЛЯ

СЛАДКАЯ ЗЕМЛЯ

БЕЛЫЙ ОГОНЬ НАД ПОЛЕМ

БАЗАР

СЛЕДОВ ЧЕЛОВЕКА НЕ ОБНАРУЖЕНО

ЛЕГЕНДА О МУЗЫКАНТАХ

ЭПИЛОГ

РАССКАЗЫ

ДОВОЕННЫЕ МОИ ИГРЫ

Я сижу на краешке стула. Стул старинный, черный, с высокой прямой спинкой, украшенной по верху строгой резьбой. Сиденье

кожаное, стертое добела, прижатое по краям почерневшими медными бляшками. Такая же кожаная подушечка на спинке стула. Стоит мне отклониться назад - я чувствую эту подушечку лопатками. Но я стараюсь сидеть неподвижно. Стул очень старый и при малейшем движении громко и протяжно скрипит. И я сижу в мучительно неудобной позе, вперекрутку, одна нога на весу, другая обвилась вокруг ножки стула, руки вцепились в края сиденья - я так сижу уже давно и стараюсь дышать как можно тише, потому что и на дыхание мое стул тоже отзывается.

Наискосок от меня, через стол, сидит Кроня. Стол накрыт белой вафельной скатертью. Скатерть старенькая. В иных местах сквозь редкие ниточки просвечивает столешница. По такой скатерти приятно провести рукой - почувствовать все ее мелкие выпуклые шашечки.

Посреди стола желтое пятно от низко висящего шелкового абажура. Абажур оранжевый, с густой бахромой. Вокруг него кругами расходятся тени. Чем дальше от стола - тем они глубже. Кронины руки видны хорошо, лицо окутано мягким сумраком. Ходики на дальней стене угадываются по звуку и торопливому ходу маятника.

Я не шевелюсь - боюсь привлечь к себе Кронино внимание. Стесняюсь я Крони, как никого.

А Кроня не замечает меня. Я для него один из тех мальчишек, что время от времени появляются здесь со своими мамами, которых общивает с головы до ног Кронина мама, Мария Михайловна. И пока Мария Михайловна снимает мерку, приметывает, примеряет что-нибудь, а то и просто болтает с клиентками, я сижу в проходной комнате на высоком старинном стуле и жду. Из соседней комнаты до меня доносятся приглушенные женские голоса, смех. Световая линия резко очерчивает контур дивана, а рядом, за столом, сидит худой подросток. Молчаливый, сумрачный Кроня. Стол завален учебниками, тетрадями. Кронины глаза сосредоточены. Тонкие губы большого сильного рта вздрагивают - думают. Шевелятся брови - тоже думают. Изредка рассеянный Кронин взгляд подымается от тетради и несколько секунд блуждает по комнате, как бы отдыхая. При этом он невольно натывается на притихшую за столом фигурку. Взгляд скользит мимо, не задерживаясь, как если бы это был пустой стул, без какого ни на есть человечка на нем.

Что ж, Кроня приучил свой глаз не воспринимать посторонних в

комнате в те часы, когда он готовил уроки, потому что другого выхода у него не было.

...Украдкой я разглядываю Кроню. Впервые на моих глазах он занят не уроками. В застиранном сером свитерке домашней вязки с едва заметным чернильным пятном на рукаве, Кроня низко склонился над столом. Перед ним горка золотистой соломы. Кроня плетет игрушечную корзинку. Длинные его пальцы с узкими ногтями двигаются быстро и ловко. Кронино лицо в дымчатой тени абажура кажется шире, чем на самом деле. Вообще-то лицо у него узкое и длинное, нос тонкий, с характерной горбинкой и высоким вырезом ноздрей. Мягкие сивые волосы падают на лоб небрежной прядью.

Затаив дыхание, я слежу за Крониной работой. На моих глазах рождается чудо - изящная кукольная корзинка для грибов. Подарок кому-нибудь? Или просто так, забава, для себя?..

Готово. Кроня щелчком отодвигает корзинку в сторону. Прищурясь, разглядывает. Хрустит пальцами...

Я знаю нескольких мальчиков такого возраста, как Кроня. Но только он один вызывает у меня чувство таинственного и неугасимого интереса, желание как можно чаще видеть его и непрестанно размышлять о нем.

Быть может, все началось с имени? Кроня, Кронид...

Быть может. Имя редкое, странное.

Я мечтал, чтоб он со мной заговорил. Тогда бы само собой обнаружилось, что я умею читать и знаю многие книги, которые читают большие мальчики... Но Кроня не заговаривал со мной.

Иногда мы приходили к Марии Михайловне днем, когда Кроня был в школе. Я переживал тогда противоречивые чувства: с одной стороны, я жалел, что не вижу Крони, с другой - радовался своей свободе, нескованности, которые сразу покидали меня в его присутствии. Мое воображаемое общение с Кроней здесь, в комнате, рядом с его мамой и его вещами, было гораздо сильнее и важнее реального.

Я любил эти дневные посещения их дома, и особенно - в зимние солнечные дни. Мария Михайловна встречала нас необычайно красивая и неповторимым, гортанным, вибрирующим голосом повторяла: "Ну давайте-ка, давайте-ка развернем этот куль..."

Ловкий веник гулял по моим валенкам, стряхивая снег. Я вбегал в Кронину комнату смело, не опасаясь, что застаю его там. Колючее зимнее солнце било в обледеневшие тусклые стекла. В круглой печке,

покрытой серебристой краской, трещали дрова. Полосатый красно-черный половик тянулся от двери до окна, и я сидел на этом половик поближе к печке, и тонкие руки Марии Михайловны протягивали мне тяжелую кипу журналов "Вокруг света". Это были Кронины журналы. Я листал их, разглядывая картинки, и многие рассказы успел прочесть, а Кроня и не подозревал об этом!

Я играл его оловянными солдатиками, которые, по-моему, вообще были заброшены и валялись без дела, а я всякий раз оставлял их выстроенными в боевой порядок и шепотом приказывал командиру отдать Кроне честь, как только тот придет из школы.

Если бы Кроня однажды заговорил со мной! Ему не показалось бы скучно.

Днем дверь в соседнюю комнату была открыта, и, отрываясь от игры, я видел столик со швейной машиной, коричневый манекен с высокой грудью, яркие тряпки... Я не прислушивался к разговорам мамы и Марии Михайловны. Они, эти разговоры, существовали в окружавшем меня пространстве как легкое, неясное бормотание, похожее на мирное жужжание пчел в густой июльской траве. Мама и Мария Михайловна были приятельницы, и потому мы проводили в этом доме гораздо больше времени, чем того требовали швейные дела.

Слыша голос Марии Михайловны, я инстинктивно подымал глаза и долго не мог оторвать взгляда от ее удивительной головы. Это была очень молодая голова. Пышные и тонкие волосы нежной белизны и - черные брови. И черные же - глаза. И румяные щеки. И тонкий нос с таким же глубоким, как у Крони, вырезом ноздрей. И маленькие розовые уши, в которых позванивали длинные серьги. А если к этому прибавить еще и колдовской вибрирующий голос, станет понятным чувство удивления и восторга, которое я испытывал, видя Марию Михайловну. Царевна из сказки, и только.

У них в доме всегда было тихо. И всегда слышался торопливый бег ходиков. А какие бури гремели над уютным мирком, внутри этих теплых стен, - я не знаю. Они, конечно, были, эти бури. Без них не обходится ни один дом.

Однажды, когда мы собрались уж было уходить от Марии Михайловны, мама отослала меня вперед, а сама задержалась.

Выйдя на крыльцо, я очутился среди чистой и тихой зимы. Бесшумно падали крупные хлопья снега, невидимое солнце освещало верхушки трех высоких деревьев. Верхушки были розовыми, ниже

деревья казались лиловыми. Двор отделялся от улицы невысоким заборчиком. Заборчик венчали хрупкие столбики снега. На моих глазах они беззвучно рушились и снова начинали расти. Вдруг откуда-то сбоку послышались голос и смех. На крыше сарая я увидел Кроню. Он был в легкой курточке с кудрявым меховым воротником, в лыжной вязаной шапке.

- Гляди, - сказал он кому-то, - это совсем не страшно...

Спружинив на высоких ногах и широко взмахнув руками, Кроня прыгнул вниз, в сугроб. Облако снежной пыли на секунду скрыло его.

Я услышал счастливый смех и увидел рядом с сугробом, из которого выбирался Кроня, мальчишку - такого же, как я, роста, да и возраста, пожалуй, такого же. Это он смеялся. Странно звучал смех посреди падающего снега - глухо и чисто.

- Видишь, и совсем не страшно, - сказал Кроня. - Сугроб мягкий, не бойся...

Мальчишка топтался на месте, с трудом взглядывая из-под глубокой шапки то на крышу сарая, то на сугроб, куда надо было прыгать.

- Ну, хочешь, я еще раз прыгну? - спросил Кроня.

Мальчишка кивнул.

Кроня ловко взобрался на крышу, цепляясь за дровины, сваленные около сарая. Там он остановился, поправил шапочку, ухнул отчаянно и прыгнул. И снова - облако серебристой пыли, и снова - смех, приглушенный снежной пеленой...

- Да не бойся! Давай руку. Вот так. Теперь сюда. Ставь ногу, смелей! Гоп-ля! Молодец!

Мальчишка стоял рядом с Кроней на краю крыши. Кроня держал его за руку. Я сжался весь, словно это я, а не он стоял рядом с Кроней. Мне страшно было смотреть вниз. Голова моя кружилась. Я цеплялся за Кронину руку, а он высвобождал ее мягко, но решительно...

- Прыгай!

Мальчишка в большой ушанке растопыркой ринулся вниз.

- Ур-ра! - закричал Кроня и прыгнул следом.

Сугроб шевелился, пыхтел, смеялся, кричал...

- Ну, что я говорил!

- А я как прыгну! Как задохнусь! - захлебывался мальчишка. - А снегом как завалит!

- Не страшно?

- Ни капельки!

Врет. Страшно. Но он прыгнул. Все-таки он прыгнул, хоть и цеплялся за Кроню.

- Ой, врешь! Я ж видел, как ты испугался!

- А вот и нисколечко!

- Чего ж ты меня за руку хватал?

- А вот и не хватал, и не хватал!..

Меня они не замечали. А я стоял рядом и все примерял к себе - и эту крышу, и этот сугроб, и Кронин насмешливый голос примерял.

Через несколько дней мы снова пошли на Большую Пушкарскую - так называлась улица, где жил Кроня. Когда проходили через двор, я поглядел на сарай: свежий снег завалил крышу - никаких следов. Зато в памяти эти следы хранились четко. В памяти их ничем не завалишь. И стоило этим следам пробудиться, как я снова пережил чувство обидного одиночества, которое испытал тогда, около крыльца, и снова меня терзали сомнения в собственной храбрости...

В Крониной комнате мною овладело какое-то злое равнодушие. Я не хотел смотреть картинок, не хотел играть. Я хотел, пожалуй, одного: разрушать.

Я устроил разгром Крониной армии. Я разбросал его оловянных солдатиков, словно они убиты. А посреди поверженной армии поставил знаменосца с белым флажком, вырезанным из бумаги. Он сдавался, знаменосец. Капитулировал. Молил о пощаде.

Я все это сделал с холодной решительностью, но легче мне не стало.

В следующий свой приход я обнаружил армию воскресшей. Солдатики стояли сомкнутыми рядами, в колонну по четыре, впереди командир и знаменосец, на древке - красный лоскуток. За колонной двигались две пушки и тачанка с пулеметом. Это была новость - артиллерии у Крони я никогда не видел. Вряд ли Мария Михайловна могла заниматься солдатиками. Ей не до того. В лучшем случае, смела бы их в коробку, да и дело с концом. Это все Кроня. Он навел здесь порядок.

Из старых облезлых кубиков я построил линию Маннергейма. Потом пробил артиллерией проход и двинул туда войска. Завязался рукопашный бой на территории противника.

Мама через день работала в вечернюю смену. В такие дни по утрам я твердил: "Идем на Пушкарскую, идем..." Мама удивлялась, но легко уступала: она сама любила ходить к Марии Михайловне, тем

более что та шила ей к лету какие-то блузки, юбки... "Маша, ты слышишь, - смеялась мама, - он мне буквально покою не дает - хочу на Пушкарскую, и все!.." Мария Михайловна гладила меня по голове и тихо смеялась своим гортанным волнующим смехом.

Как-то, войдя в Кронину комнату, я даже вскрикнул от удивления: сквозь линию вражеских укреплений мчалась кавалерия - двадцать конников с саблями наголо!.. Кавалерии у Крони раньше не было, это точно. Значит, он достал где-то или купил, чтобы... Нет, это невероятно! Когда я представил себе, как перед уходом в школу Кроня расставляет на полу оловянную конницу и от удовольствия вытягивает губы трубочкой, когда я представил себе, что он при этом думает, - у меня даже в горле защекотало. Моя тайна внезапно выросла и укрепилась, теперь она была и Крониной тайной. Значит, он откликнулся, значит, он принял мою игру! Значит, мы играем вместе, но храним это в тайне!.. Я ликовал.

А когда Кроня придумал пластилиновых врагов, я понял, что люблю его нежно и верно.

Всю зиму я наслаждался своей тайной. Всю зиму ходил на Пушкарскую и играл в солдатики. С Кроней, но без Крони. Я так радовался, заметив на полу перед окном что-нибудь новенькое, по сравнению с тем, что было в прошлый раз... Значит, игра продолжалась!

Меня волновала эта тайная игра, и я боялся, что она вдруг кончится.

Помню яркий солнечный день ранней весны, когда, придя на Пушкарскую, я замер перед игрушечным уголком. Укрепления врага были окончательно сметены. Повсюду валялись поверженные пластилиновые человечки. Наша армия походной колонной с развернутыми знаменами возвращалась домой. В хвосте колонны под охраной конницы двигался обоз с трофеями: соломенные кони тянули соломенную телегу, а на телеге лежали конфеты, соевые батончики, шесть штук. Тут же торчала записка: "Угощайтесь нашими трофеями. Они не отравлены". Это был единственный раз, когда в игре участвовало слово, пусть не произнесенное - написанное, но все же слово. Я долго не решался съесть хоть одну конфету. Протягивал руку и не брал. Протягивал и - не брал... Наконец съел одну. Больше не тронул. И понял: игра кончается.

...Январский вечер тысяча девятьсот сорок второго года.

Мы жили на кухне, с окном, забитым фанерой и заложеным

подушками. Мы топили плиту книгами, ломали стулья, шкафы, из своей хлебной пайки варили тюрю и глотали ее, обжигаясь. Хлеб, суп и каша - все вместе. Когда плита немного остывала, мы клали на нее матрац и ложились.

...Стук в дверь. Так поздно? Кто бы это мог быть? Дом пуст, почти вымер.

Мама пошла открывать. Когда вернулась, впереди нее в кухню влетело тугое облако холода. Я плотней закутался в одеяло.

- Скорей закрой!

- Сейчас, - сказала мама и кому-то: - Проходите сюда.

При тусклом свете коптилки я увидел высокого человека в полушубке, заслонившего собой проход.

Мама поставила коптилку повыше, и тут ярко блеснул иней на бровях, воротнике и шапке незнакомца. Коптилка несла дрожащий неверный свет и скрадывала подробности. Казалось, мир состоял из черных провалов и серебристо-серых выпуклостей. Больше ничего в нем не было.

Незнакомец кашлянул и глухо произнес:

- Я Кроня.

- Господи, Кроня! - Мама так и села на кровать. Я вглядывался в человека, который только что назвал себя Кроней... Кроня - здесь? Да быть этого не может!

- Господи, Кроня... - Мама замолчала. Потом, переведя дух: - Что Маша?

- Мама умерла, - сказал Кроня все тем же глухим, безразличным голосом. - Две недели уж. Без меня свезли. Даже не знаю куда.

- Горе, горе... Вот и мы папочку своего свезли, - сказала мама и, закрыв лицо руками, стала раскачиваться на кровати. Я очень боялся этого беззвучного, бесслезного плача и стал уговаривать ее:

- Мама! Не надо, мама!..

- Простите, я на минуту. - Кроня потоптался, оглядел нашу кухню. Я заметил у него на поясе кобуру.

Мама очнулась, опустила руки на колени.

- Кронечка, Кронечка... Угостить мне тебя нечем. Только кипяток в духовке. Выпей кипятку на дорогу.

- Спасибо, не беспокойтесь. Да мне и некогда. Машина ждет. Я ведь буквально чудом сюда...

Он стащил с плеча вещевой мешок, стал развязывать.

- Возьмите... Это конина.

Кроня протянул маме длинный сверток.

- Кронечка, да что это вы!.. Да вам самим пригодится... - Мама вдруг перешла на "вы". - Зачем же вы так... Возьмите обратно.

Мама говорила торопливым шепотом, она задыхалась от волнения, от радости, от того, что держит в руках чудо, волшебство, мясо! И, говоря эти жалкие, подобострастные, неискренние слова, она все крепче прижимала к груди газетный сверток, а я цепко схватывал глазами каждое ее движение и обмирал при каждом ее слове, и веря и не веря, что она может отдать, вернуть, а Кроня может положить сверток обратно в мешок и унести. Это дико, нелепо, но это правда: я обрадовался, когда Кроня ушел.

Мама закрыла за ним дверь, вошла в кухню, остановилась у плиты. Я сидел на постели и сжимал в руках холодный тяжелый сверток. Мы молчали. Было слышно, как проскрипели по ступеням Кронины шаги, потом по двору тише, тише... А после - зафыркал, заурчал мотор на улице... И все стихло.

Мама протянула ко мне руки, обняла меня вместе со свертком, и мы заплакали - от горя, от радости, от надежды и удачи, от ослепительной удачи, которая называлась - конина.

К концу войны я был худым, большеротым, лохматым подростком, неунывающим и добычливым, как все ленинградские мальчишки.

Помню, промышляли мы в ту осень около Музкомедии - спекулировали билетами. Верховодил над нами Кика-толстый, парень с довоенным румянцем во всю щеку. В условленный час мы собирались в сумрачной подворотне на улице Ракова. Кика выдавал нам билеты, говорил, почем продавать. С выручки каждый получал свой процент. Кика жадничал, но спорить с ним не решались. Помощников он выбирал с толком: в чем только душа держалась. И понятно, все мы стремились к одному: продать билеты выше установленной Кикой цены это был наш "законный" заработок, о котором Кика не знал.

В тот дождливый вечер я быстро сплавил свои билеты. Все, кроме одного. Я уже весь был мокрешенек и дрожал от холода, но билет у меня не покупали. Люди спешили мимо под зонтиками. Прошли, весело разговаривая, мальчишки из Кикиной шараги. Я окликнул их.

- Порядочек! - отозвались они. - А у тебя?

- Один остался.

- Иди к подъезду, сейчас начнется. Может, подвалит кто...

Я подошел к театру. Там нынче "Сильва". За тяжелыми дверьми - свет, тепло, музыка... Меня передернуло от сырости.

- Эй, парень, билета нет?

...Высокая фигура в плащ-палатке. Блестящие глаза под навесом капюшона, узкий нос с горбинкой.

- Билета нет, спрашиваю?

Я кивнул: есть, мол...

Крепкий рот. Узкие, твердые губы. Небольшие усики над верхней губой. У меня дыхание перехватило.

- Послушай, парень... - Тон стал просительным. - Послушай. Ты еще сходишь! А я на один вечер, понимаешь... Завтра снова уезжаю...

Постепенно до меня дошло. Он думает, я сам собираюсь в театр. Он просит, чтоб я уступил.

Неужели Кроня?.. Но голос, голос неузнаваем - твердый, резкий. Если б он скинул капюшон, я б узнал тогда. Назвать по имени? А вдруг не он? Нет, не могу.

- Чего ж ты молчишь? Отвечай! Вот деньги... - Он доставал из карманов бумажки, шуршал ими... И такое отчаяние было в его голосе, что я не выдержал. Сунул ему в руки билет и побежал.

Я бежал домой, глотая дождь, перепрыгивая через лужи, а то и нарочно попадая в них ногой. А-а, чем мокрее, тем лучше! В ушах моих все звучал удивленный голос: "Парень, куда ж ты!" Завтра мне предстояла расплата с Кикой, надо где-то доставать денег, а где - я не знаю, ну и наплевать, чего-нибудь придумаю... Чем мокрее, тем лучше!

С тех пор прошло много лет. Очень много. Просто не верится, что ты сам их прожил, а не смотрел со стороны, как они шли, шли и шли...

Однажды я оказался на Петроградской стороне, где давно, очень давно не был. И жил, и работал я в новом, дальнем районе.

Задумавшись, я шел по улице и вдруг поймал себя на том, что сквозь сутолоку обыденных забот продирается какое-то неосознанное беспокойство. Было похоже на то, как спишь, накрывшись с головой одеялом, а кто-то звонит у двери, и звонок пробивается к тебе сквозь толщу сна, и сначала он тебе как бы действительно снится, а потом, постепенно, вырывается из сна и тебя за собой тянет.

...Я иду по красивой просторной улице и, когда вижу, что от беспокойства мне не отделаться, пытаюсь понять его причину. Я ищу

причину в своих сегодняшних делах и мыслях и не нахожу ее там. Останавливаюсь на перекрестке, чтобы переждать поток машин, оглядываюсь и вдруг чувствую сильный внутренний толчок. Толчок почти физический, словно понукание что-то делать, куда-то идти... Снова оглядываюсь и застываю на месте. Я вижу широкий двор с тремя огромными старыми деревьями, а рядом - еще деревья, помоложе. Ищу деревянный заборчик - его нет. Вместо него низкий каменный барьер, а дальше - скамейки, газоны... Взгляд летит в глубь двора, я узнаю парадную, ярко освещенные окна четвертого этажа... То, о чем я до сих пор рассказывал, заняло так много места! В памяти моей все это вспыхнуло мгновенной чередой ярких картин... Я взбегаю по крутой лестнице на четвертый этаж. Тороплюсь отдышаться. Резко нажимаю кнопку звонка. Жду. Замираю, слышу легкие шаги.

- Простите... Здесь живет Кронид...

Только сейчас я сообразил, что не знаю ни отчества, ни фамилии.

- Кронид Павлович, - полуспрашивает, полуутверждает девушка, открывшая мне дверь, и, обернувшись, кричит в глубину коридора: - Папа, к тебе!

И еще до того, как она крикнула это, сразу, стоило мне только взглянуть на нее и увидеть этот гордый профиль, этот характерный вырез ноздрей, тонкий выразительный рот, я подумал: "Дочь!" - и не ошибся.

Он сначала выглянул в коридор, а потом и вышел сразу, на ходу натягивая пиджак и сбоку поглядывая на меня строго, пытаюсь узнать и не узнавая, и, быть может, сердясь на себя за это...

А ко мне только сейчас пришло осознание: где я, у кого я. Я растерялся. Можно было ожидать чего угодно: убит на войне, живет в другом городе, ну, в крайнем случае уехал в командировку... Нет, все как в сказке: жив, здоров и стоит передо мной. Стоит, улыбается сдержанно и покачивает головой: "Нет, не узнаю... Извините, не томите... Кто вы?"

Был сивый - стал седой. Не такой сединой сед, как Мария Михайловна, не волшебной, а обыкновенной - серой, я бы сказал. Морщины, много морщин, и все прямые, резкие...

- Так кто же вы, назовитесь?

Дальше молчать нельзя, и я сбивчиво, нескладно называю себя, маму, говорю про их дружбу с Марией Михайловной...

Глаза его теплеют, загораются интересом. Он жестом показывает

на меня дочери, - а та стоит у полуоткрытой двери, прислонившись головой к косяку, - показывает и говорит:

- Вот, Маша, человек о т т у д а...

И когда Маша кивает в знак полного понимания, я приободряюсь: значит, человек о т т у д а им не безразличен!

- Что ж мы стоим здесь! В комнату, в комнату проходите...

Прежде чем сесть на предложенный мне стул, я, словно не расслышав, прохожу по комнате туда и обратно и успеваю все разглядеть: новая мебель, новая лампа над столом, новые цветы, даже пол новый - не широкие крашенные доски, а паркет... Круглой печки как не бывало! На ее месте - телевизор. Увеличенная фотография Марии Михайловны на стене в профиль. И чуть-чуть глаза на меня... Зато в той, другой комнате я успеваю разглядеть старинную швейную машину. Она стоит на прежнем месте, у окна.

- Садитесь, - повторяет Кроня. Нет, Кронид Павлович...

- Ну, вспоминайте, - говорит он приветливо. Он сидит наискосок от меня через стол, и я вдруг ловлю себя на мысли, что ведь мы с ним р а з г о в а р и в а е м! Да-да, мы с Кроней р а з г о в а р и в а е м!.. А Маша слушает нас все в той же позе - щекой к косяку, руки под щеку.

Что-то меня все-таки сдерживает, смущает... Неуверенность, что ли: меня ли он узнал?.. И я осторожно, медленно, о мелочах, о деталях, - чтоб увидел: помню. Помню комнату эту, помню его, тогдашнего, Марию Михайловну помню... Он слушает и поглядывает на Машу.

- Точно. Так и было. Здесь стояла печь. Точно. - Смотрит на меня в упор: - Как это вы все так запомнили? Слушайте, а Диму вы помните? Диму вы разве не знали?..

- Нет, - говорю, - не знал...

- Ну, простите, что перебил... Мне почему-то казалось, что вы его знали... Простите... Вы очень интересно вспоминаете. Продолжайте...

Я продолжаю. Вспоминаю двор, сарай, мальчонку в глубокой шапке. Кроня смеется:

- Кирюха-опенок!.. - Вдруг он вспыхивает: - Послушайте, какой же я болван! Только сейчас сообразил! Ведь это к вам я тогда заходил в январе сорок второго? Ну конечно, к вам! Господи, да я бы вас ни за что не узнал, вы же малявочкой были, а теперь... Маша! Послушай... Я тогда вырвался из части, на один вечер, чудом просто... Пришел сюда, а мамы уже нет. Я ходил, узнавал, куда увезли... Никто не знает... Я уже собирался уезжать вспомнил про конину - не увозить

же обратно! Я к Диме было хотел... - Он все это говорил, больше обращаясь к дочери, чем ко мне. - Но адреса-то Диминого я не знал, вот обида... А ваш адрес (кивок в мою сторону) я у мамы в записной книжке нашел. Я ведь знал, что они подруги.

У него горели скулы, он нервно покачивался, сцепив пальцы под коленом. Я немного подумал и кивнул в угол:

- Там были солдатики. Пехота, конница...

Тут его лицо вспыхнуло таким добрым лукавством! Поглядев на Машу, он вздохнул иронично:

- Довоенные мои игры...

А я с горечью подумал: "Ну почему, почему не пришел я сюда десять, пятнадцать, двадцать лет тому назад!.."

И я уже готов был продолжить и детально, со знанием мельчайших подробностей, рассказать о бесшумной и тайной войне, которую вели здесь, в углу, оловянные солдатики и пластилиновые человечки, как они брали друг друга в плен, как бежали из плена... Но он опередил меня:

- Так вы в самом деле не знали Диму? Никогда не видели? Как жаль! Хромой такой мальчик, одна ножка короче другой. Не помните? Жаль. Он часто бывал здесь с мамой. Тоже наша заказчица... - И снова к Маше: - Помнишь, я тебе рассказывал? - Яркая улыбка на Машинном лице. И опять мне: - Я вам сейчас расскажу... Это занятная история. Вам будет интересно... Когда Дима приходил сюда, он часто играл с моими солдатами. Устраивал целые баталии на полу. А я очень жалел его, мне казалось ужасно: мальчик, не может бегать, прыгать, ходить на лыжах, кататься на коньках... И я затеял с ним тайную игру... Я знал, когда он придет, и к его приходу устраивал военные парады, покупал специально для него оловянную конницу, мастерил всякие игрушки... Он догадывался, Дима, но молчал. В том-то и была прелесть этой игры, чтобы молчать... Играть и молчать...

Честное слово, мне стало худо. На секунду какую-то, но так худо, что я схватился за сиденье стула. Казалось бы, чепуха, столько лет прошло, да и вообще - детская забава... А вот мне стало худо. Но я быстро взял себя в руки. Он даже не заметил ничего.

"Так, - подумал я, - играл он с Димой, а я только портил им всю игру". Мне стало грустно, я заторопился уходить.

- Да что вы, останьтесь, Маша чай поставит, как же так можно сорваться с места...

Нет, я не мог остаться. Я должен был уйти.

Странное дело: как будто мы с Кроней теперь почти ровесники, оба взрослые и даже не очень молодые люди, а я по-прежнему чувствую себя младшим по отношению к нему, и от этого мне как-то неуютно.

Мы вышли в коридор. Тут я с трудом поднял на него глаза, а он все время смотрел на меня таким открытым, простым, надежным взглядом, каким о т т у д а смотрят. Я поднял глаза на него и думал в это время про Музкомедию, билет в пятнадцатый ряд и человека в плащ-палатке...

Спросить? А если не он?

И мне по-мальчишески жалко стало того проливного осеннего вечера и захотелось сохранить его в памяти таким, каким он был, ничего в нем не меняя, ничего не убавляя. Пусть так и останется.

МАРТЫН И ШАЛУПЕЙКА

Я вошел в класс, огляделся. Показалось, все парты заняты. Я топтался на месте, никого не видя от волнения.

- Садись скорей, - сказала учительница, - первый раз пришел и опаздываешь. Садись! - Она ткнула указкой в глубину класса.

И тогда я увидел руку, зовущую меня, и первое лицо увидел. Рука звала меня широко, открыто, а лицо улыбалось, словно мы с этой девочкой знакомы давно и моего прихода она нетерпеливо ждала.

Класс не обратил внимания ни на нее, ни на меня, - наверно, потому, что свободных мест и правда больше не было, а еще потому, что все с нетерпением ждали конца урока, чтобы потом с еще большим нетерпением ждать конца следующего, за которым маячил светлый, горячий час обеда.

Я сел. Она отодвинулась на самый краешек, искоса поглядывая в мою сторону и отводя глаза, как только я к ней поворачивался.

Худая, стриженная, длинноногая, похожая на мальчишку, в стареньком лыжном костюме с аккуратными заплатками на локтях...

Вот она что-то написала на тетрадной обложке. Подвинула тетрадь ко мне.

"На вшивость проверяли, да?"

...Между прочим, от этой нечисти мы с мамой каким-то чудом убереглись. Зато со мной вышло вот что. В феврале, в очереди за хлебом, я увидел женщину с движущимся серебристым воротником. Я закрыл глаза и долго боялся открывать их, но все равно видел этот воротник, даже еще страшнее. И дома я его видел потом, и всюду. Но

главное, с тех пор у меня появилось ощущение, что вся одежда моя д в и ж е т с я. Если кто-то на улице пристально смотрел на меня, я вздрагивал и тщательно оглядывал свое пальто. Когда война кончилась и многое забылось, это все не проходило. Потом почти прошло, и осталось такое: я долго боялся ходить в парикмахерскую. Как только мастер набрасывал на меня белую простыню, я замирал в тоске и дурных предчувствиях. Мука была - стричься. Потом и это прошло.

"Ну и как?" - написала она.

"Ну и так! - ответил я, потому что разозлился. Издеваться вздумала. И добавил: - Стриженная!"

"И не потому, - написала она, - в стационаре всех стригут".

Подвинулась ближе. Теперь тетрадь лежала как раз между нами. Написала, не таясь от учительницы:

"Чем ты вымазан?"

"Ляписом", - ответил я.

Она прыснула и прикрыла рот рукой.

- Воронова, - сказала учительница, - посадили новенького - ты и рада болтать.

Она подождала, пока учительница отвернется.

"Ляпсус, да?"

Я зачеркнул и сверху написал: "Ляпис!"

"Нет, ляпсус! Ты - ляпсус!"

Я не ответил. Она подождала немного и снова заскрипела пером...

"Меня звать Люба. А тебя... - Перо весело дрожит над бумагой. Ляпсус?"

Я ограничился презрительным взглядом. В ответ она приветливо улыбнулась. В верхнем ряду у нее не хватало зуба. Чтобы закрыть дырочку, она совывала туда кончик языка.

Ответить я не успел: учительница вызвала меня к доске - она хотела знать, что я помню из арифметики.

Когда я сел на место, Люба ткнула меня в бок: "На!"

Это был маленький, совсем крохотный кусочек хлеба, но то, что она поделилась со мной, поразило меня. В те дни не принято было делиться хлебом. Каждый сурово и строго съедал положенную ему пайку. Матери делились, но это совсем другое дело.

Я подумал, сжимая хлеб в кулаке: "Сытая?.. Не похоже..."

Позже я понял: она безразлична к еде и это у нее в характере.

Даже в голод, когда все думали только про еду, она могла думать о другом. В этом было ее естественное превосходство, которое я скоро признал.

Мы переглянулись, как заговорщики, и принялись осторожно есть хлеб. Какой это был сладкий, медленно тающий на языке заговор!..

После уроков она сказала:

- У нас грядка на Петроградской. Пойдешь?..

Мы шли по ярким пустынным улицам и, перебивая друг друга, говорили каждый о своем. Вдруг оказалось, что кроме телесного голода во мне, да и в ней скопился иной голод - общения. И мы говорили - что попало говорили, что в голову придет, не вдумываясь в то, что говорилось, а просто радуясь, наслаждаясь самим звучанием голоса. Оказалось, даже приоткрыть рот и ощутить напряжение мускулов, готовых вытолкнуть звук, слово, фразу, оказалось, даже это - радость великая!

Пока мы дошли до Александровского сада, мы знали друг о друге почти все.

...Я так отчетливо вижу сейчас, как мы идем с нею мимо Адмиралтейства, касаясь друг друга плечами, чуть не взявшись за руки, по затененным листвою дорожкам сада. В непрерывном движении листвы над головой, в мелькании солнечных пятен - такая упорная сила жизни! Она не считается ни с чем - ни с потерями, ни с голодом. Она знает одно: выше, дальше, еще выше! Развернуть лист, раскрыть бутон, благоухать, дать плоды...

На главной аллее сада мы разом остановились и разом, не сговариваясь, закричали: "А помнишь! Помнишь!.." Довойну, Первый май, ярмарку, маски, шары, эскимо...

Помнишь ты все это?..

У меня мелькнуло, что мы могли с нею стоять тогда у одного киоска в затылок друг другу и что я мог у нее - а почему бы и нет? - именно у нее вырвать блестящий раскидай на длинной резинке. Или проткнуть булавкой шар... И что мы могли - рядом! - лететь по этим аллеям в звенящей повозке, запряженной черными пони в золотой упряжи...

Я хотел было поделиться с нею своей догадкой, которая, как мне казалось, уже связывала нас особыми - важнее соседских - узами, но почувствовал неловкость. А она засмеялась; "Ой, а помнишь пони?.."

У нее было такое лицо, какое бывает, когда едешь на пони, а

вокруг все тебе завидуют.

Самолет был невидим. Он шел на такой высоте, что зенитки не могли его достать. Они надрывались, как псы на привязи: видят вора, а ухватить не могут.

Глазам открылось чистое, до бескрайности чистое небо - ни единого облачка, но в этой синеве - где только? - прятался самолет, начиненный бомбами. Ничем не замутненное небо, блеск солнца и - самолет с бомбами. Он сбросит их не глядя, куда попало, лишь бы сбросить, и не когда-нибудь, а сейчас, днем - в эту сверкающую синеву, в золото и зелень.

- Пойдем скорей, - Люба тянула меня за руку.

Мы не боялись неба. За первый год войны мы притерпелись и к бомбежкам, и к обстрелам. Мы просто спешили на огород и боялись, что тревога задержит нас в пути. Мы хотели проскочить, потому и шли вперед. Да и где было спрятаться, если слева виднелось непроницаемое, как бы безлюдное, Адмиралтейство, а справа - пустынная, словно вымытая перед праздником, Дворцовая площадь.

- Успеть бы через мост, - сказала Люба, - чего ты тащишься, как неживой!..

Я попробовал идти быстрее, но тут же стал задыхаться. Закружилась голова. Я сбавил шаг.

У самого моста, окруженная мешками с песком, вздрагивала в пороховом дыму зенитная батарея. Нас заметили, когда мы вступили на мост. Нам что-то кричали.

Мы шли вперед, громко и часто дыша. Мы шли очень быстро - быстрее, казалось, идти невозможно - сердце выскочит.

- Скорей, скорей! Бежим! - торопила Люба.

Я попытался сделать движения, которые когда-то назывались бегом. Движения я помнил, а вот ноги... Ноги мои тут же наполнились вялой тяжестью, стали подгибаться, и я вновь перешел на шаг.

Люба не выпускала моей руки, я пытался вырваться, хотел выругать ее, но сил моих хватало только на короткое дыхание, обжигающее горло.

От Зоологического музея наперерез нам бежал человек в военной форме. Он бежал вперевалку, одной рукой поправляя сползающую на нос каску, другой - придерживая противогазную сумку. Сапоги его с подковами тяжко бухали по мостовой.

- Сюда, сюда!.. - Люба потянула меня в тень Ростральной

колонны. Узорчатая чугунная дверь была распахнута, и мы нырнули в прохладную полутьму.

- Видишь, успели! - шепнула Люба. Она засмеялась. Смех ее смешался со стрельбой. Она выдохнула: - Ой, страшно! - и ткнулась головой мне в грудь. От неожиданности я чуть не упал. Чтоб удержать равновесие, схватил ее за плечи. Вместо того чтобы высвободиться, она еще ближе приткнулась ко мне. За спиной моей был холодный сырой камень.

Мы молчали.

...Тогда я впервые испытал восторг, который потом временами приходил ко мне. С волной восторга накатывали стихи, никому, кроме меня, не понятные, похожие на обломки прекрасных кораблей.

А тогда впервые что-то переполнило меня, подкатило к горлу. Захотелось петь, кричать, плакать. Ослепительный свет солнца бил сквозь щель в кованой двери. Зенитные пулеметы трещали над головой. Где-то в городе медленно поднялась и глухо рухнула земля.

Мы долго стояли под сырым сводом. Сердце ее колотилось в мои ребра. И мое колотилось так же громко. У меня было теперь как бы два сердца, только бились они вразнобой.

Мы сами уже остановились, а сердца наши еще бежали, обгоняя друг друга.

Я казался себе огромным, как башня, в которой мы спрятались. А над нами стояло чистейшее синее небо без единого облачка. Небо, которому нельзя было доверять.

За высоким забором простирался мертвый Зоопарк - пустые клетки, вольеры, водоемы... А здесь, на грядках, уже пробивались овощи и густо толпились сорняки. Мы сидели на корточках друг против друга и пололи морковь. Я работал быстро и удивлялся, как это у меня просто получается.

Вдруг Люба закричала:

- Ты! Чего делаешь! Морковку повыдергал, а сорняки оставил! Ляпус несчастный!..

Красная, злая, она трясла у меня перед глазами какой-то травой.

- Ты дурак? Дурак, да?

Я сплюнул и отвернулся.

- Сажай обратно! Слышишь? Обратно сажай!

- Еще чего...

- Не будешь?! - Она размахнулась и бросила мне в лицо пучок травы.

Глаза запорошило землей. Я кинулся на нее, и мы покатались по земле. Она дергала меня за волосы, за уши, щипала и кусала. Я дрался с нею всерьез, как дрался бы с мальчишкой. Она и была для меня сейчас мальчишкой, худым, увертливым, коварным.

И все-таки я одолел его. Я положил его на обе лопатки, притиснул коленом к земле, прижал ему руки к груди, торжествуя победу...

- Пусти! - выдохнул он с неожиданной силой. Я очнулся.

...Я увидел на глазах ее слезы. Отчаяние было на ее лице, и стыд, и боль. И я машинально отдернул руки от ее груди, так сильно и мгновенно передалась мне и эта боль, и этот стыд.

Не глядя на меня, она вскочила с земли, поправила платье и пошла вдоль зоопарковского забора, все быстрее и быстрее.

Я остался сидеть на траве. Я пытался осознать, что же произошло, я весь был стыд и не знал, как буду смотреть ей в глаза.

Потом я стал приводить в порядок грядку. Надо было что-то делать.

Работая, я поглядывал вдоль забора: не возвращается ли... Она не возвращалась.

И тут я почувствовал на себе чей-то взгляд. Вернее, мне показалось, что на меня смотрят. Я огляделся. Под разлапистым старым вязом сидели на траве рядышком две старухи в черном. В узловатых пальцах они держали одинаковые суковатые палки и одинаково, медленно жевали серыми губами. Старухи в упор глядели на меня. Я почувствовал озноб. Старухи были похожи на цыганок. Я отвернулся. Они продолжали долбить мой затылок. Тогда я выбрал дерево потолще и спрятался за его шершавым стволом. Стало полегче.

...Я вспомнил наш довоенный бульвар и довоенных старух на скамейках. Те были какие-то чистенькие, кружевные, белые, но тоже преследовали взглядами.

Однажды я шел по бульвару мимо крахмальных панамок, мимо белых платков в горошек, а оттуда, из глубины зеленого коридора, в платье с матросским воротником появилась пятиклассница Надя. Я тогда ужасно ее любил, мне казалось - смертельно, и еще мне казалось - все видят это, и я боялся встретиться с Надей взглядом, а тут надо пройти мимо, может быть, даже остановиться и уж обязательно поздороваться. И все это на виду у старух.

Расстояние между нами сокращалось, свернуть в сторону нельзя -

я чувствовал: Надя тоже меня заметила, - и я шел вперед и молил природу о внезапном ливне, затмении или пожаре...

И вот теперь мне кажется, что-то рухнуло, потому что я так любил Надю, а выходит, совсем больше не люблю, даже не могу как следует увидеть ее лицо. Я очень постарался и увидел Надю, но увидел, как на слабом, недопроявленном снимке. Рядом с нею - отчетливо - стояла Люба. Они как бы стояли рядом, но не глядели друг на друга. Рядом с румяной Надей Люба была некрасива. Все у нее слишком - нос и рот, руки и ноги... Я разозлился на чистенькую и красивую Надю. Я так посмотрел на нее, что она поплыла-поплыла и исчезла...

И тогда рядом раздался Любин голос:

- ...а дураки пусть едят сорняки... А дураки...

Я выглянул из-за дерева. Перед глазами - черные коленки. Во все стороны летит трава. И снова голос:

- ...будем мы морковку есть, а дураки...

Я вернулся к грядке. Взял в руки тоненькую былиночку. Морковка это или не морковка?..

Ее пальцы бережно обегали маленький росток, а голос приговаривал, точно над младенцем. Ее пальцы уминали землю вокруг былиночки. Вокруг морковки, значит...

Потом она запела. Давно при мне никто не пел. Мама не пела с тех пор, как война началась. Соседки тоже не пели. Только радио иногда.

Голос у Любы тихий и тонкий. Чуть дрожит. Он кажется хрупким, как та былинка, что обегает ее пальцы. А песню я слышал впервые.

Давно я не был в городе,

Где рос и возмужал,

Где трудную и гордую

Любовь я повстречал.

На улицах фонарики

Светили нам тогда

И в памяти, и в памяти

Остались навсегда.

Фонарики, фонарики,

Свет юности моей,

Фонарики, фонарики,

Светите веселей...

Мне стало грустно. Захотелось, чтоб кто-то ласково на меня посмотрел. Люба сидела в траве, обхватив руками колени. Она пела и тихо покачивалась в такт песне.

Мы были одни в парке. Одни, если не считать тех старух. Старухи сидели в прежних позах, только теперь - так мне казалось - глядели не на меня, а на Любу и бесшумно вторили ей, чуть кивая...

Это был странный безлюдный мир, а в нем ровно столько тишины, сколько надо для маленькой песни.

Все-таки где-то я ее слышал, эту песню, не слова, а мотив...
Вспомнить бы, где...

Фонарики, фонарики.

Свет юности моей,

Фонарики, фонарики,

Светите веселей...

Вспомнил... И ворвалась гармонь, и я увидел пьяное, отчаянное и по-детски обиженное лицо Олега Шерстобитова. Он сидел у ворот нашего дома, играл, курил, сплевывал себе под ноги, а пыли у него в волосах было столько, что голова казалась седой. Он был такой загорелый, каких я не видел никогда. Обгорелый он был. И гимнастерка не зеленая, а совсем белая. Ему кричали в окно: "Олег, иди обедать!" А он: "Сейчас, мать!" Ему опять: "Иди, суп простыл!" А он: "Сейчас, мать..."

Мы, мальчишки, стояли вокруг него и шелохнуться боялись: это был человек о т т у д а, и пыль на нем была о т т у д а, и солнце, от которого такой страшный загар, только там горело.

А потом словно в бок меня кто толкнул: я оглянулся, провел взглядом вдоль улицы и увидел отца. Он шел к дому в обычном своем черном пиджаке, в котором всегда ходил на работу, только шел он медленнее, чем обычно. Куда-то пропала его легкая, чуть подпрыгивающая походка, а на ногах было что-то непонятное, и шел он согнувшись - за спиной виднелся вещевой мешок. А на голове - старая кепка со сломанным козырьком.

"Папа!" - закричал я и бросился навстречу. Отец не улыбнулся, слова не сказал, только дотронулся до моего плеча, повернул меня к дому, и я пошел за ним, все еще видя перед собой его лицо.

Оно было сморщенное, с кулачок, и такое же обгорелое, как у Олега. А кепка, пиджак и все-все - в той же мелкой белой пыли. А на ногах - галоши, подвязанные веревками.

Снесен домишко старенький

На улице твоей,
Но светятся фонарики
По-прежнему на ней...

Он был о т т у д а или почти о т т у д а - какая разница. Он подымался по лестнице задыхаясь, и одышка его раздавалась на всех этажах. Я шел за ним. Сухой плач стиснул мне горло.

Потом мама мыла отца на кухне, а я таскал воду из прачечной. Вода гремела о железный желоб, пахло щелоком и пареным деревом.

...Отец лежал на диване в чистой рубашке. Граница загара на его шее была такой резкой, что я не мог оторвать от нее глаз. Отец рассказывал, с трудом шевеля спекшимися губами:

- ...копали окопы... на брющем... прорвались танки... колодцы загажены... два сухаря... в Ленинград... в Ле...

Он так и заснул на полуслове. Мы сидели рядом, боясь пошевелиться, чтоб не спугнуть его сон. Напрасно боялись. Спал он крепко. Проспал почти сутки. В раскрытое окно долго доносился скрип Олеговой гармони. Небо молчало в ту ночь.

А ты в краю неведомом
За дальнею рекой
Ни радостью, ни бедами
Не делишься со мной.
Фонарики, фонарики,
Свет юности моей,
Фонарики, фонарики,
Светите веселей...

Люба кончила петь. Я кивнул на старух:

- Чего они... Зырят все время.

- Они? Да они слепые.

- Слепые?

- Ну да. С голодухи выпили чего-то и ослепли. Подруги они. Вместе и ослепли.

- Вместе?..

Старухи по-прежнему сидели в тени старого вяза, по-прежнему медленно жевали губами, вспоминали, быть может, какую-нибудь любимую стародавнюю еду... В них не осталось теперь ничего таинственного, просто несчастные, жалкие существа. Мне стало стыдно, будто я их вслух обидел. А ведь пройдет еще немного дней - я привыкну к ним и перестану, почти перестану различать их на фоне старого дерева, они сольются с землей и травой и еще крепче будут

держаться друг за друга - единственное, что удерживает их на поверхности жизни...

- Мать идет, - сказала Люба. - Можешь звать тетей Верой.

Широко размахивая руками, к нам подходила женщина в брезентовой куртке, в синем платке. Платок сбился на затылок. Светлые волосы ветром относило в сторону.

- Она трамвайщица, - сказала Люба. - Вагоновожатая. Здесь все из трампарка.

Женщина подходила, глядя на меня в упор. Взгляд ее узких зеленоватых глаз полоснул по мне с усмешкой. Лицо у нее было сухое, грубокожее, как у людей, целыми днями работающих на ветру.

- Мама, - сказала Люба, - это мальчик...

- Вижу, что не девочка.

- ...это мальчик с нашего класса.

В профиль лицо женщины было острое и красивое, как у индейцев.

- Чернобрысенький, - сказала она коварно-ласковым голосом и, не спросив имени, протянула руку. Быструю, хваткую, горячую. - Чего глаза отводишь, - она улыбнулась, - или совесть нечиста?..

Вот это зубы!.. И блокада нипочем...

- Ну что, чернобрысенький, Любка-то у нас - царевна!.. Посватаешься не отдам.

- Мама!

- Что "мама"? Тринадцать лет мама. И пошутить нельзя. Серьезные вы. А ты молчун, как я посмотрю...

Она придвинулась, погрозила мне пальцем, и я словно оступился: мне показалось, я услышал запах вина...

- Ах ты, девочка-татарочка, досадные дела, - она пела и медленно притопывала, - погуля-гуляла парочкой и двойню родила...

Я не знал, куда девать глаза и руки. Люба резко повернулась и пошла прочь.

- Любка, вернись! - крикнула ей мать. - Ладно, ухожу я.

Она постояла еще, порылась в кармане, протянула нам по кусочку сахара. Из другого кармана достала горбушку, разломала пополам...

- Ешьте, голуби.

Посмотрела, хмурясь, как мы жуем, и пошла вдоль центральной аллеи. Отойдя, запела:

Ах ты, дед, ах ты, дед, ах ты, дед,

в телогреечку-ватовочку одет,
хоть у деда седина с рыжиной,
а меняет он Жену за женой!..

- Ты на маму не обижайся. Мама хорошая. Шутит, конечно, так...
- Люба помолчала и - резко, будто я спорил с ней: - Ну, выпила!
Работа тяжелая ремонт путей...

Там, под вязом, старухи поднялись, медленно, словно вырастая из-под земли, и пошли прочь от нас, рука об руку, пробуя дорогу палками. Мы смотрели им вслед, пока они не пропали за деревьями.

- Знаешь, я зимой проснусь, плачу, сны все про еду, то хлеб, то котлеты... Проснусь, мама мне титьку даст, пустую титьку почмокаю и опять сплю.

...А еще песни мне пела. Держит на руках, как маленькую, и поет: "А я девочка бедовая, соломенна вдова, моя песенка не новая, знакомые слова..." Или еще: "Не молодо, не зелено, проверено одно: любить тебя не велено, забыть не суждено". Много разных пела. И сама сочиняла. "Скоро папка наш придет, Любе хлебца привезет..."

Папка на фронт уехал в июле. Мы его на вокзал проводили, ухватились за руки, не пускаем, ему уже грузиться, а мы не пускаем, он сам чуть не плачет, руки отнимает.

...Мама мне рассказывала, как они женились. Папка ее из другой деревни привел со своей матерью знакомить, а мать и говорит ему потом: "Бесстыжая девка твоя. Глазами так и штрюхает. Мне такую невестку даром не надо. Она из-под меня перину вынет". Папка дверью хлопнул и ушел. А за ним кот ушел. Десять лет в доме жил, а за папкой ушел. Пришли они в мамину деревню, папка и кот, стали у маминной мамы жить, у моей хорошей бабушки. Бабушка папке с мамой говорит: "Вы знаете кто? Вы - как Мартын с Шалупейкой. Мартын на пашню - Шалупейка на пашню. Мартын щи хлебать Шалупейка щи хлебать. Мартын на крышу - Шалупейка на крышу. Мартын с крыши - и Шалупейка за ним".

...Под весну к нам дядя Федя приехал, солдат. Постучался и спрашивает: "Вороновы здесь живут?" Мама испугалась и молчит. А он: "Как же так, соседи сказали - здесь..." Мама говорит: "Ну, значит, все". Догадалась она. Я со двора прихожу - мама на полу сидит, белая, а какой-то солдат ее по голове гладит. "Дочка, - говорит, - очнись, приди в память, дочка..." Я все поняла и от страху язык потеряла. Думали, совсем онемею.

...Дядя Федя пошел семью искать, а ихний дом разбомбило. И

никто ничего не знает - то ли погибли, то ли уехали. Скорей всего погибли, потому что в списках эвакуированных он их не нашел. Вот он целый день ходит, ходит, а вечером опять к нам. Мама к спирту тогда привыкла. Выпьют и плачут оба: каждый про свое и про меня - оба...

Дядя Федя стал на фронт уезжать. Собрался, маму поцеловал, меня, по лестнице спустился, дверь хлопнула, я стою... А потом как побегу следом! "Как же так, - думаю, - слова с ним не сказала, не попрощалась..." Догнала и кричу: "Дядя Федя! Стой, погоди!" Он схватил меня на руки и смеется: "Разнемела! Разнемела наша Любка!"

...После старшина приезжал, Оборин. Сказал, дядю Федю убили. Хотел у нас жить, да мы его прогнали - приставала он... - И сплюнула: - Тьфу, дурак!..

...Вернулись мы поздно. Я проводил Любу до дому. Жила она на площади Труда. Около булочной. Здесь мы попрощались. Люба сказала:

- Домой ко мне не ходи. - И, словно опасаясь, что я неправильно пойму, добавила: - Вообще не ходи.

В тот вечер я долго не засыпал. Думал: как она может так - обо всем... Про жизнь, про смерть... Как будто не о себе, не о своем...

Я не могу так. А про смерть - вообще не могу. Про все, сколько я их видел. Потому что, про какую бы я ни подумал, я все вижу ту, одну-единственную, и она душит мне горло.

Как можно столько носить ее в себе и ходить, смеяться, есть, спать?

Только сейчас я научился думать про нее словами.

Отец угасал тихо и безропотно, как жил.

С тех пор как он пришел с окопов вместе с толпой беженцев, подгоняемых голодом и страхом, он уже больше никуда не спешил и ничего не хотел. Он долго болел, потом был на казарменном положении - жил, ночевал на работе, и винтовки стояли у них там прямо возле письменных столов. В те дни он приносил в плошечках суп и кашу и аккуратно завернутый в газету ломтик хлеба. Когда совсем ослаб - ему дали бюллетень и он слег.

В нем надломилось что-то.

Во время бомбежки у нас выбило стекла, окна кое-как заставили фанерой, заложили подушками, всюду свистело и дуло, а он уже не мог ни заклеивать, ни замазывать, ни конопатить.

Подвал наш обчистили: все дрова унесли, оставили только

чурбаки каменные - не расколоть. Отец жег в ненасытной печи книги и страдал от этого безмерно.

А ведь были другие люди, и я их знал.

Ах, какие это были люди! Они утепляли свой кров, они двигались, не ложились в постель - знали: нельзя. Они добывали себе буржуйки, правдами-неправдами - дрова, они умывались, черт возьми! И в этом тоже был секрет жизни. В них не угасала сильная злость на себя.

А он? Что он умел? Что мог? Только одно: отдавать. Нам отдавать. Баланду, кашу, хлеб. Отдавать, отдавать, отдавать.

С какой мыслью он умирал? Ведь была она, последняя, когда и говорить уже не мог, самая последняя - край, за которым ничего... Он похоронил нас раньше, чем умер сам. Разве мог он поверить, что мы выживем!

Умирать без надежды остаться в других людях - вот что страшно.

...Я пытаюсь вспомнить хоть один разговор с ним - не детский, мужской. На моей памяти он все больше работал, щелкал и щелкал на своих счетах, вписывал что-то в скучные синие листы. Холодный чай на столе, погасшая папироса в треугольной пепельнице с надписью по ободку: "Шоколад и какао. Фирма Алексеев и К°"... По выходным - гости, преферанс...

Однажды только, стоя у окна, сумеречного, осеннего, сказал, морщась от папиросного дыма: "Уехать бы в Михайловское, посмотреть, как там осень..." И сам над собой посмеялся: вот, мол, блажь в голову пришла... А потом сказал, повернувшись ко мне: "Только в детстве видишь, как одно в другое переходит: лето - в осень, осень - в зиму... Видишь, но не понимаешь".

...Это был такой холод и так блестели стены от лунного света, точно были они изо льда, из сплошного льда, и до чего ни дотронься, все источает этот жестокий холод.

Холод молчит. Тепло, откуда бы ни исходило, звучит, шепчет что-то, потому что живое, а холод - он мертв. Даже капля воды не упадет, потому что давно превратилась в лед.

Я заразился тогда этим холодом, и он долго, годами выходил из меня, выходил тяжело, ознобом, да так и не вышел весь по сей день и не выйдет, знаю, до конца.

...Стены комнаты подымались в беззвездную высь, и голос мой повторялся там сотни, тысячи раз: "Папа! Папа!" Я кричал, цепляясь за кровать, за одеяло, за костлявые щеки отца. Я кричал на весь дом,

и оттого, что дом не откликнулся, я кричал еще и еще, и крик мой тонул, как человек, не умеющий плавать.

Щетина отцовских щек колола мне руки. Казалось, он живой. Я продолжал расталкивать его, как будто он всего лишь крепко спит и надо разбудить его, во что бы то ни стало разбудить, иначе будет поздно... Но кто-то все время твердил мне: "Тише, тише, не кричи, ему больно, не трогай..." И я уже не кричал, а шептал, и шепот вылетал из меня как теплый комочек жизни, но тут же примерзал намертво к стенам, потолку и бесчисленным, ненужным уже вещам...

Каждый день после уроков мы шли на Петроградскую. Мы пололи и поливали свою морковную грядку, и, пожалуй, не было во всем парке другой такой - чистой, влажной, дымящейся, пышной...

Морковь крепла, наливалась темная зелень, плотными рядами вставала на рыхлой земле, точно зеленые воины строились, воины в шляпах с зелеными перьями. Дул ветерок, и перья на шляпах важно покачивались.

Мы гордились своей грядкой и всем показывали ее. Слава о нашей морковке разнеслась по всему трампарковскому огороду. Одни приходили просто посмотреть, другие - выведать "секрет". Люба смеялась: "Ей-богу, ничем не удобряли! Честное ленинское!" Уходили, недоверчиво косясь через плечо.

Мы раздвигали землю у основания стебля и смотрели: как она там, морковка наша? Не пора ли на пробу? Мы гладили ее: расти, расти...

Забегала тетя Вера - редко, озабоченная и трезвая. Совала нам что-нибудь: "Рубайте, Мартын с Шалупейкой!" И тут же исчезала.

Я спрашивал у Любы:

- Кто это - Мартын с Шалупейкой?

- Да неразлучки такие, - говорила она.

- Какие? Кто? - не отставал я.

- Потом, - отмахивалась, - потом расскажу.

...Мы ходили по газонам, собирали щавель, жевали его до оскомины, лежали на траве - глазами в небо.

Чаще - лежали молча. Иногда разговаривали. Люба рассказывала мне из жизни, я ей - из книжек.

- ...Поль схватил шпагу и прыгнул в окно. Слуга держал на поводу оседланного коня. Как вихрь ворвался он на площадь маленького городка. Двери гостиницы были заперты. "Отворите! - закричал он громовым голосом. Отворите, иначе я изжарю вас на

кончике моей шпаги!" Никто не отзывался...

- А Луиза? Она-то чего? Заорала бы - помогите!

- У нее же кляп во рту.

- А-а-а...

Битый час рассказываю я ей какую-то книжку. По правде говоря, половину я перезабыл, но это не беда, потому что я тут же прибавляю из другой книжки, из третьей, наконец, придумываю на ходу. Не люблю, когда перебивают...

- Ну вот, забыл из-за тебя...

- Никто не отвечал! - подсказывает она.

- Никто не отвечал... Тогда он навалился на дверь могучим плечом, дверь затрещала и подалась. Его глазам предстало страшное зрелище...

Я наворачиваю друг на друга жуткие, невероятные, трогательные события. Столы ломаются от яств, персонажи - благородные храбрецы или отъявленные негодяи. Женщины - только красавицы. Старухи прячут на груди пузырьки с ядом. Кровь льется потоками. Вино - тоже. Наконец у меня заплетается язык.

- А дальше? Дальше что?

- Все кончилось хорошо, - вяло говорю я.

- Поженились, да?

Киваю.

- А потом?

- Дальше не написано.

Какое ей дело, что дальше не написано! Какое ей вообще дело, что во всякой книге есть последняя страница и черным по белому там сказано: "конец".

- А я знаю, что будет дальше, - говорит она.

- Что?

- Луиза станет некрасивая, и он ее разлюбит.

Это не по правилам. В красивую книжную неправду можно добавлять все что угодно, кроме некрасивой правды. А она взяла и добавила. Впрочем, она во всем такая.

Я понимаю теперь: она где-то слышала эту фразу, не сама придумала. Она незаметно примеряла ее на себя, потихоньку, с бьющимся сердцем примеряла, как примеряют материнские платья, бусы, туфли, чувствуя: еще немного - и будет впору...

- Сколько людей в мире?

- Много.

- Ну сколько?

- Миллиард вроде.

- Ой-е-ей!.. И всех накормить! Шамошки-то сколько надо! Хлеба одного... с ума сойти! И каждый день, каждый день - по три раза! А где взять?..

Она так говорила об этом, как будто сама, лично была ответственна за то, чтобы накормить этот голодный миллиард, чтобы всем хлеба испечь, а тут как раз муки не подвезли...

На меня тоже действовала магия необозримых количеств. До самого горизонта тянулась наша школьная кухня, в луженых котлах закипала вода для всемирного супа, горький дым осиновых дров тысячами клубов подымался в небо, и, брэнча алюминиевыми мисками и котелками, к запаху этих котлов тянулось благодарное человечество...

- Твоего папку как звали?

- Алексей.

- Алеша... А моего Максим.

Максим - Алеша. Алеша - Максим... Удивительно хороши рядом эти имена.

Я спросил:

- А этот, дядя Федя... Он про отца рассказывал?

- Рассказывал. Пошли, говорит, в атаку. Нас, говорит, отбили. Мы опять пошли. Нас опять отбили. Много в поле осталось. И наш...

- А он его... потом видел?

- Нет, не видел. Артиллерия, говорит, поле перепахала, а часть отступила. Слушай, твой папка водку пил?

Я подумал.

- По субботам.

- И мой выпивал, - вздохнула Люба. - Ой, дурной был! То поет, то пляшет, то целует всех... А твой?

- Мой?... Он... яичницу жарил и меня кормил. "Вы, - говорит, - все тут едите, пьете, а ребенок голодный".

- Ну? - Она долго смеялась. - Кормил? Яичницей?!

...Он кормил меня яичницей, а я плакал, я не хотел яичницы, не хотел его громкого голоса, его запаха, его блестящих глаз, его неверных рук ничего этого я не хотел, я хотел одного: спать.

Она нырнула с головой в траву и, невидимая, спросила оттуда:

- Ты... влюблялся? Когда-нибудь?

- Нет, - соврал я и снова вспомнил Надю, вернее, услышал ее

голос, точь-в-точь как тогда, прошлой, еще не военной зимой, когда я болел свинкой и лежал в постели, а форточка была приоткрыта, и около нее толпился тихий снежок, и в комнату влетали с улицы чистые прозрачные голоса детей. Это не были слова и тем более фразы. Это были отдельные звуки, сплошные гласные, такие певучие: "О-о... а-а-а... э-э-э..." Согласных не было, они тяжело оседали в снег и не достигали окна. Я изо всех сил напрягал слух и каким-то чудом среди этого снегопада гласных уловил - не услышал, именно уловил - Надин голос. Как я был счастлив тогда!

- Нет? Никогда? - переспросила меня трава, зашевелилась и замерла. А у нас в лагере, до войны, - прошелестела трава, - у нас девчонки мальчишек выбирали, ну, договаривались, кому какой, понимаешь? Была такая Тамарка Ильина, она распределяла. Тычет пальцем: тебе такой-то, тебе такой-то... Мне достался Вовка толстый. А Ледик - ну, который мне нравился - он другой девчонке достался.

...И надо было на свидание идти, под дерево, так договаривались, это тоже Тамарка придумала. Я пришла, а Вовка толстый стоит под деревом и плюет сквозь зубы: цык-цык... Мне противно стало, я чуть не ушла. Тамарки боялась. Она еще велела, чтоб мы на свидании целовались... Вовка поплевал, поплевал, потом дает мне открытку - фонтан Самсон в красках, на обороте написано: "Любе от Вовы". Я хотела "спасибо" сказать, а Вовка убежал. Я так обрадовалась, что он убежал! Вдруг чувствую: кто-то на меня смотрит. Никого нет, а смотрит. Потом вижу: куст зашевелился. Ага! Я вцепилась в куст, а там Тамарка! Ух, я ее... Всю исцарапала! Она в изоляторе два дня сидела.

- А ты?

- Выгнали. С треском.

- А этот?..

- Ледик? - догадалась она. - Ледик и не узнал ничего. Он на кухне дежурил. Хотела ему записку написать, а потом раздумала...

- Почему?

- Не придумала, как начать. Начну и порву. Начну и порву.

- А Мартын с Шалупейкой - это знаешь кто? У бабушки в деревне неразлучки жили. Куда один, туда другой. Все за руки держались, как ненормальные. Председатель Мартына пошлет с сеном на станцию или еще куда, а Шалупейка сидит у околицы и плачет: "А как пойду на крышу, да как кинуся!.."

Я засмеялся.

- Вот. Над ними все смеялись, а они - хоть бы что.

Я подумал: да эти Мартын с Шалупейкой и в самом деле ненормальные. Люба смотрела на меня исподлобья.

- А ты бы так смог?

- Ну, чтоб все смеялись, а тебе наплевать.

- Как это "наплевать"?.. - Я мешкал с ответом, не знал, что сказать.

- Не смог бы. Знаю, что не смог бы. Просто так спросила.

Я обиделся.

- Ну, а когда Мартына этого на фронт взяли, куда твоя Шалупейка делась?

- С ним пошла.

- На фронт?

- А куда же? Конечно, на фронт.

- Сказки.

- А вот и правда.

- Ты откуда знаешь?

- Знаю. Его ранили, она его из боя вынесла, раны перевязала... Он в госпитале лежит, она передачи носит, кисет вышивает...

"Если ранили друга, перевязает подруга горячие раны его..." Старая довоенная песня из пиратского фильма - и эти двое, с такими смешными именами или прозвищами, не знаю... Ну, какая тут может быть связь!

А песня не выходила из головы: "Горячие раны, горячие раны, горячие раны его..."

- Слушай... Я задумала. Вот моя травина, вот твоя. Закрой глаза. Если твоя травина до моей дотронется, то да.

- Что да? - спросил я.

- Да и да, - ответила она сурово, и я подчинился.

Я закрыл глаза и стал водить травинкой по воздуху и водил долго, не встречая преграды. Я чувствовал, как на моем лице застывает глупая улыбка.

- Все, - сказала Люба.

Я открыл глаза: травинки касались друг друга.

- Дотронулся!.. - Я думал, она тоже обрадуется. Она втянула меня в эту игру, и я не хотел, чтоб игра кончалась. - Смотри, - повторил я, дотронулся...

Она усмехнулась.

- Это я. Сама. Ждать надоело. Как дурачок какой-то - размахивает

руками, рот разинул...

И она показала, как я рот разинул.

Значит, сама дотронулась. Все погасло во мне. И я спросил просто так, лишь бы спросить, хотя игра уже кончилась и теперь надо было молчать. Я спросил:

- А что такое "да"?

- "Да" - это значит, что ты - балда, - сказала она, глядя мне прямо в глаза.

Она с а м а дотронулась до моей травинки! С а м а! А я, дурак, ничего не понял...

Трава покачивалась передо мною и горько пахла, и мелкая, подробная, затягивающая жизнь спешила куда-то среди этой травы. Я окунул в нее голову и почувствовал, что д о л ж е н что-то сказать, что молчать нельзя. Я преодолел тысячелетний страх и на придуманном ею же языке сказал:

- Да. - И еще раз: - Да.

В эту минуту я и сам верил, что д а.

На самом деле так оно и было. В нем, в этом коротеньком слове, была, как в семечке, вся будущая жизнь. Со всеми ее побегам, раскрытыми солнцу листьями, грозным шумом ветра над вершиной и редкими цветами, на которые просто смотреть нельзя, так мучительно они хороши.

Мы шли с мамой из булочной и встретили Любу. Я поздоровался. Люба кивнула. Проходя мимо, она проводила маму длинным, откровенно любопытным взглядом.

- Кто это? - На мамином лице удивление.

- Люба Воронова. Я с ней сижу.

- Ну-у-у...

Больше я не услышал от мамы ни слова, но выражение растерянности долго не сходило с ее лица.

На следующий день по дороге на Петроградскую Люба сказала:

- Твоя мама знаешь кто? Дамочка.

Надо было слышать, как она сказала это: "Да-амочка".

- Почему? - Я не мог скрыть обиды.

- По кочану! - отрезала Люба. - А вот моей в магазине продавщица говорит: "Вам чего, дамочка?" А мама ей: "Если я дамочка, ты знаешь кто?.. Пробка от бутылки!" Та обиделась, ужас!..

- И правильно, - сказал я. - А почему дамочка - непонятно.

- Почему?!

Она вытянулась в струнку, вытянула губы, шею, сделала тупо-строгие глаза и, брезгливо растопырив пальцы, пошла, подпрыгивая на негнущихся ногах...

Черт! В этом не было н и ч е г о мамино, и в то же время, в то же время...

- Мама у меня не такая, - сказал я, - а ты дура.

- Ну и хорошо, что не такая. А все равно дамочка. Да-амочка!

- А ты дура.

Каким вялым и бессильным, а главное, неточным было это мое "дура"!

Я понес ей учебник немецкого языка. У нее не было своего, и я понес учебник, чтоб она не схватила двойку. Сама она, разумеется, ни о чем меня не просила.

Собравшись нести учебник, я начисто забыл о том, давнем, предупреждении: "Ко мне не ходи..." И когда к дому подошел, и когда на лестницу ступил, и когда в дверь постучал, - не вспомнил. Ни разу не вспомнил! Я все время думал об одном: к а к е й п о н р а в и т с я , ч т о я д о г а д а л с я п р и н е с т и у ч е б н и к ...

Любы дома не было. У тети Веры сидел тугощекий сержант с пышными обкуренными усами. Взгляд его голубых глаз был странен. Он вроде бы и смотрел, и не смотрел на меня. Он, казалось, глядел куда-то сквозь меня, дальше... От этого, как бы невидящего, взгляда во мне сразу возникло чувство неловкости и жгучее желание обернуться и увидеть, куда же он смотрит, хотя я и догадывался, что н и к у д а .

Тетя Вера небрежно смахнула с плеча его руку...

- Заходи, Мартын. Нету твоей Шалупейки...

Она перехватила мой взгляд, вцепившийся в стол: початая буханка, крупно нарезанное сало, зеленая солдатская фляга, на ней что-то выцарапано...

Прижав буханку к груди, тетя Вера отрезала толстый ломоть, накрыла салом, подала. Я и слова сказать не успел.

- Вот! - Она кивнула сержанту. - Гляди, Любкин ухажер! Как, ничего?..

Я хотел уйти, но хлеб... Хлеб как-то связывал.

Сержант смотрел на меня в упор и не видел. Тут-то я и понял, что он пьян.

- Уберись! - Тетя Вера вновь смахнула его руку, теперь уже с раздражением. Увидев, что я подался к двери, крикнула: - Стой! Иди

сюда!

Я решил, она еще что-то хочет мне дать, и обрадовался, но подумал: "Спасибо - и айда..."

- Иди-иди, не бойся... На-ка, почитай вслух. - Она протянула мне тетрадный листок, исписанный химическим карандашом, листок со следами сгибов по диагонали, так что сразу можно догадаться: солдатский треугольник.

Машинально я взял его в руки. Пальцы мои почувствовали шероховатость заношенной бумаги, ее непрочность на сгибах, размочаленные края.

- Осторожно ты! - крикнула тетя Вера. Лицо ее стало красным и злым. "Так не уйти, - понял я, - придется читать".

- Да положи ты хлеб! - снова крикнула она. - Не украдут ведь! Садись.

- Я так... - произнес я едва слышно, одними губами. Полусонный сержант бормотал что-то и снова потянул руку через стол. Тетя Вера отодвинулась от него вместе со стулом.

- Читай! Да громче, чтоб э т о т слышал!..

Я вглядывался в синие буквы. Они были хорошо различимы там, где карандаш только что помусолили. Но с каждым нажимом становились все слабей и слабей, пока снова не уярчались до синевы. Почерк был детский, неровный, каждая буква стояла отдельно и криво по отношению к соседней. Детский силуэт букв и смысл, который за ними открывался, были несовместимы, и в этом таилась для меня печальная загадка.

- "Родная моя Веруня", - начал я и не узнал своего голоса: он был глухой и вялый. Я невольно проглатывал концы слов...

- Может, горлышко промочить?..

Я испугался и взмок сразу. Письмо набухало в моих потных ладонях. Я старался придать голосу твердости.

- "...Веруня, пишу тебе в перерыв между боями. С каждым днем тут все жарче. Ребята у нас боевые, полны решимости любой ценой остановить вероломного врага. Сейчас короткое затишье, даже жаворонка слышать. Веруня! Я слушаю жаворонка и вспоминаю, как у бабки Вари жили. Поле, стог... Помнишь? Тогда тоже жаворонки пели. Эх, да что там! Смотри смело вперед, после войны наслушаемся досыта! Веруня, ты не подумай плохого..."

Я поднял глаза. Тетя Вера плакала. Она плакала открыто, некрасиво хлюпая носом и смахивая руками слезы.

- Читай! Дальше читай!..

- "...Ты не подумай плохого..." - Тут я сделал паузу, чтобы посмотреть на сержанта. Я хотел знать, как он слушает. Я хотел, чтобы он слушал внимательно.

Сержант спал. Он спал, уронив голову на грудь. В усах его были крошки хлеба. А руки тяжело лежали на столе - справа и слева от тарелки. Темные ладони с кривыми потрескавшимися ногтями...

- Да черт с ним! Читай!..

- "...Ты не подумай плохого, - читал я, приглушив голос, потому что теперь я жалел сержанта - пускай спит, - ты не подумай плохого, Ленинград мы врагу не отдадим, но могут быть трудности, лучше вам с Любой уехать. Очень прошу тебя, знаю, ты упрямая, обещаю, что уедешь. Лучше на Урал, к дяде Мите, он..."

Здесь был сгиб, бумага протерлась, разобрать невозможно.

- Он примет, он добрый, - подсказала тетя Вера. - Дальше!

- "...Родная моя, - читал я и чувствовал такую усталость, такую слабость в коленях. Каждое слово я выволакивал из себя, точно бревно тащил крюком из Невы. - Родная моя, золотая, вижу тебя во сне... целую... обними Любашу... Враг будет разбит... Победа будет за нами..."

- А-а, зараза! - незнакомым резким голосом крикнула тетя Вера и с такой силой толкнула от себя стол, что сержант упал на пол. Вернее, он не упал - он сполз, и вот что меня поразило: сползая, он успел с закрытыми еще глазами ухватить со стола фляжку, да так ловко, что и капли не пролилось!..

Я взял свой хлеб и вышел. За моей спиной раздался густой бас сержанта: "Ложная тревога!" Его низкий рокочущий смех. Тишина. Всхлипывания. Опять тишина.

Дневной свет ослепил меня. Я шел, сжимая в руке хлеб, и думал об одном: куда бы спрятаться, где бы отсидеться, перемочь эту страшную усталость, что навалилась на меня...

Потом я увидел, что стою на берегу Пряжки и смотрю в ее неподвижно-маслянистую воду. Время от времени она вспучивалась мутными пузырями. Пузыри были настолько ленивы, что даже не лопались - опадали, и все. К воде спускались пыльные неухоженные грядки. Прошла женщина с лейкой, зачерпнула воды, стала поливать. От воды, от гряды потянуло чем-то машинным - маслом, железом, бензином... И вдруг - намокшая грядка вспыхнула на солнце, как елочная игрушка! Это засверкали в ней омытые водой тысячи

осколков стекла.

- Эй... - окликнули меня.

Я обернулся. Это была Люба. Я посмотрел ей в глаза и понял: она не вдруг меня увидела. Она шла следом и знает, что я был у них...

Покосилась на хлеб.

- Говорила тебе, чтоб не ходил к нам? Говорила или нет?

Я протянул ей книгу.

- Дурачка строишь? Ко мне больше не подходи! Понял?

И оттолкнула мою руку.

Я хотел ей все объяснить, я даже знал, какие слова сказать, и был уверен в их безотказности, но рот мой оказался набит хлебом и салом, и я не мог ни проглотить все это разом, ни тем более выплюнуть. Я обречен был жевать. Я торопился прожевать, чтоб успеть, пока она не ушла, произнести те самые объяснительные слова, а она - она с победительной усмешкой смотрела в мой жующий рот. Я готов был сквозь землю провалиться, но жевал, жевал, давился и жевал... Она сплюнула: "Ляпус несчастный!" - и ушла. И было в ее походке что-то от тети Веры - плывущее, независимое, - только с поправкой на легкость тринадцати лет.

Рядом раздался сдавленный смешок. Та женщина с лейкой стояла, согнувшись над водой в неловкой позе, и, глядя на меня откуда-то снизу, улыбалась жадной перевернутой улыбкой.

Вечером, сидя над учебниками, я отчетливо, громко произнес: "Нет! Нет!" - и сам испугался.

Мама повернула меня к себе и, держа пальцами за подбородок, долго ловила взглядом мои глаза. Чем дольше ей это не удавалось, тем сильнее она хмурилась. Наконец сказала:

- Фу, противно! - и отдернула руку от моего подбородка, как отдергивают от лягушки.

Не мог же я сказать ей, что мой крик был как заклинание. Что я так ярко, так правдоподобно увидел в нашей комнате того сержанта, что мне пришлось крикнуть "нет!", чтобы он исчез. Да и вообще, это не я кричал. Это во мне что-то крикнуло.

И я молча склонился над учебниками, чувствуя, как медленно сходит с моего лица краснота. Уши долго еще горели. Я закрывал их руками.

Я был уверен: Люба со мной сидеть больше не станет. Я шел в школу и лениво гадал, кто же теперь мой сосед. Оказалось, мне это совершенно безразлично.

Люба сидела на прежнем месте. Сидела прямо, вонзив острые локти в парту, прикрыв ладонями щеки и глаза. Перед нею лежал раскрытый учебник география.

Я так обрадовался, что она сидит со мной!

- Привет!

Медленно, не поворачивая головы, она вырвала из тетрадки листок (как попало вырвала), быстро написала на нем несколько слов (небрежно, криво написала) и подвинула ко мне, придерживая листок пальцем. Я прочел: "Думаешь не пересела так дружу? Не хочу чтоб трепались вот".

Она изорвала листок на мелкие клочки.

Географию ответила на четыре.

Учительница математики любила неожиданности - на следующем уроке объявила "разведку боем": контрольную, два варианта. Я остро пожалел о прежних временах: Люба по математике шла первой.

Она склонилась над тетрадью, не закрывая ее от меня, и старательно лепила один столбик за другим.

Мои соседи впереди и сзади были так же безнадежны, как я сам. У Любы за спиной сидел Валька Камыш, самый сытый в нашем классе. Он торговал завтраками и обедами, выменивал на них разные вещи.

Камыш толкал Любу:

- Напиши решение... Слышь! А то худо будет...

Он пихал ее кулаком в спину. Она ни разу не обернулась, даже виду не подала.

Учительница сказала:

- Камышов прекрати.

До конца урока осталось минут пять. Камыш понял, что шпаргалки не будет. Тогда он свернул свой листок в трубку, поднес ее к Любиному уху и тихо, отчетливо произнес:

- Ну... отродье! Жить тебе до переменки...

Люба остановилась писать. Я видел, как побелели ее пальцы, державшие ручку. Как выгнулось на бумаге перо "86". Как разошлись его половинки и вонзились в бумагу. Как снова соединились и на бумаге остался след - две черные дырки.

Ручка направилась к чернильнице, вернулась к бумаге и принялась снова записывать ряды четких цифр.

Раздался звонок. Дежурные пошли по рядам отбирать работы. Камыш скомкал свой листок и выкинул в форточку.

Учительница вышла из класса. В ту же минуту Люба обернулась и молча вцепилась в мясистые Валькины щеки. Валька - тоже молча - отбивался. Она пригнула голову, но щек его не выпустила. На глазах Камыша показались толстые слезы.

- Еще, - сказала Люба, - еще.

Он бил ее кулаками по голове и громко плакал. Потом она выпустила его.

Камыш выскочил из-за парты.

- Убью!..

Люба стояла спиной к доске, выставив руку с пером. Узкое белое лицо. Белое и глаз не видно.

Девчонки закричали. Я бросился между Любой и Камышом. Свободной рукой она ударила меня по лицу.

- Психичка! - закричал Камыш. Он боялся. Это все видели.

Какие после этого могли быть уроки!.. Но пришла Амалия Петровна, и начался немецкий. Постукивая сухим кулачком по столу, она что-то шпрехала, пока не поднялся Василиса - хромой Вася Зуев. Осколком снаряда ему раздробило кость. Вася поднялся и сказал:

- На кой мне фрицевский учить, я их ненавижу!..

Амалия взволнованно и долго говорила про Шиллера и Гете, читала стихи по-немецки, но никто ее не слушал, все обсуждали свежую драку, и Амалия не выдержала: хлопнула дверью.

Все валится из рук. Открываю учебник, читаю вслух, но слышу при этом совсем другие слова.

Мне жалко всех - тетю Веру, ее погибшего мужа, Любу, себя, маму... Об отце я не говорю, это особое чувство.

Даже сержанта того мне жалко, хотя какое мне до него дело!

А Шаргородский?..

Шаргородский - мамин начальник. Картавый, квадратный, кучерявый человек, припадающий на одну ногу. Шаргородский вызвал маму в кабинет и сделал ей предложение. Мама хохотала до слез, рассказывая мне об этом. Она стонала от смеха. Так она смеялась только до войны...

Дамочка...

Мама - дамочка?

Мама - в ее порыжевшей демисезонке? В сбитых набок туфлях?

Когда туфли эти стоят в коридоре, они склоняются друг к другу, как те старухи в парке...

Какая отвратительная у нее шляпа. С каким ужасным пером.

Какие боты мужские...

Все это я понял внезапно.

...Повеяло легким полузабытым ароматом, словно прошла рядом другая, довоенная мама в чем-то блестящем, струящемся, сладко пахнущем, прохладном на ощупь. И словно вслед ей сказал кто-то: "Смотрите, какая интересная дама..." Голос был оттуда, из тех, давних, времен. Где он звучал, кому принадлежал - не помню...

Пальцы мои вновь ощущают ветхость той почтовой бумаги, затертость ее, хрупкость... А у меня не осталось ни одного письма от отца. Ни одного. Мне он еще не писал писем.

Крашеное перо в шляпе - гадость. Завтра же выдерну!

А если бы она вышла за Шаргородского?..

Мама пришла поздно. Было родительское собрание.

Молча вымыла руки. Не ответила на мое "ну, как".

Я подал чай. Она спросила:

- Ты по-прежнему сидишь с Вороновой?

Зачем спрашивать, знает ведь... Я понял: этот, ненужный, вопрос лишь подход к другому, главному.

- Ну, сижу...

- Не груби.

- И не думаю.

- Опять грубишь.

Ясно: сама ведет к ссоре, чтоб легче выкричатся. Но при чем тут Люба?..

- Что она за девочка? Развязная, очевидно?

Так... Не может забыть встречу у булочной.

- Девчонка как девчонка.

- Что у тебя за тон?

- У меня - нормальный.

- Значит, у меня ненормальный? Выходит, так?

Начиналось воспитание, отвратительное, как зубная боль. Дважды отвратительное потому, что насквозь пропитано притворством. В который раз с брезгливым удивлением вижу, как нормальный человек превращается в в о с п и т а т е л я. Как появляются эти мучительные складки на лбу, эти тягостные морщинки в углах губ, постная мина, занудный тон...

- Достаточно один раз увидеть ее мать...

Вот оно что...

- ...чтобы понять, что дочь...

Недалеко от нее ушла, не так ли?..

- ...недалеко от нее ушла!

Ну вот, так и знал.

- Ты улыбаешься?!

- А что, нельзя?

- Ты наглеешь с каждым днем! Я потребовала, чтобы вас рассадили!..

Зачем, ну зачем она так... Я ведь знаю: она лучше, добрее, мягче этих каменных слов: "наглеешь, потребовала, недалеко ушла".

Я в смятении. Непонятная новая боль раздирает меня. Смешалось все - и жалость, и любовь, и обида, и - страшно сказать - презрение...

- Зря старалась...

- Ты не смеешь... - Она задыхается от ярости, и мне ее не жаль. Она сейчас не видит, не слышит, не чувствует ничего, кроме одного: кроме желания выпустить на волю какие-то тяжелые силы... - Ты не смеешь общаться с этой...

Задохнулась.

С этой! С какой - с этой? С дрянью небось?

Все смешалось во мне, и я закричал:

- И смею! И буду! С кем хочу, с тем и буду! Не запретишь! Они хорошие! А ты, ты... Иди, Шаргородского воспитывай!

Мама ахнула.

Я хлопнул дверью.

Вернувшись домой, я молча ткнулся головой в мамино плечо. Мама не оттолкнула меня. Глаза у нее были заплаканные.

Я разделся и лег. Я продолжал думать про это. Ну, ладно, за Шаргородского она не вышла бы. А за кого-нибудь другого?..

Значит, мне предстоит жить в постоянном ожидании этого другого? И думать, что я отвечу ей, когда она подойдет ко мне и скажет: "Я выхожу замуж". Нет, не так: "Как ты посмотришь, если я выйду замуж?" Нет, не так: "Ты не против, если я выйду замуж?" Нет, все не так! А как? Как?..

Мне снилась какая-то песня. Проснувшись, я стал вспоминать, какая. Я перебрал много песен - среди них не было той. Мне упрямо хотелось вспомнить ее. Это был азарт, я не давал себе покою. Там снилось что-то вроде: костер, огонь, пламя... Я и так и этак крутил всякие жаркие слова, пока внезапно не вспыхнуло: "Горячие раны, горячие раны, горячие раны его..." Я обрадовался, будто добавку в столовой получил. Я громко спел всю песню, благо был один и никто

не мог слышать меня.

"Горячие раны его..."

Мартын и Шалупейка не казались мне сейчас смешными. Они странно притягивали. В них была тайна, которую мне суждено когда-нибудь открыть. Я верил, что суждено.

Занятия в школе кончились. Вместе с другими мальчиками я уезжал в военный лагерь.

В день отъезда с рюкзаком за плечами я пошел на Петроградскую проститься с Любой.

Я шел через мост, за спиной брякали ложка и кружка, солнце окатывало жаром мою голову, и слова той песни звучали во мне: "Я тебя провожала, но слезы сдержала, и были сухими глаза..."

- Чего пришел? - спросила Люба, не подымаясь с грядки, - она полола и продергивала морковь. Белесые хвостики аккуратным пучком лежали в меже.

- Да так, мимо шел... - сказалось вместо всех смелых, неоспоримых слов, что вытаскивал я по дороге.

- Ну и иди мимо.

- В лагерь уезжаем... - Как я ненавидел себя за эту извиняющуюся интонацию!..

- Скатертью дорожка.

- Я проститься пришел...

- Ах вот что, вы проститься пришли. Ну так прощайтесь скорей, а то некогда.

- Люба... - начал я и забыл все слова на свете.

В эту минуту в уши мне проник звон. Он так естественно и своевольно завладел моим слухом, что не дал времени размышлять и прикидывать, откуда он взялся. Только мелькнуло: знакомый...

Я увидел радость на Любином лице и оглянулся. Сквозь тяжелую зелень парка, непроницаемую, казалось, даже для солнца, пробивалось со стороны проспекта что-то шумное, большое, яркое...

Следом за Любой выбежал я к парковой ограде, пролез в щель между отогнутыми прутьями и остановился. Весь в блистающих стеклах, зеркально-чистый, празднично-шумный, трамвай мерно дышал на нас своим механическим нутром и медленно надвигался, а ветви деревьев хватили его за бока, шуршали по стеклам, по крыше, словно хотели остановить. И остановили.

- Залетайте, голуби, прокачу!

За бликующими стеклами я не сразу разглядел тетю Веру. Ее

индейское лицо сегодня особенно красиво. Белая кофта прихвачена у ворота брошкой-якорьком, волосы гладко зачесаны, синяя лента вокруг головы...

- Оглох ты, что ли, чернобрысенький?.. Залетай, говорю!

В вагоне мы вдвоем. Сидим друг против друга на теплых желтых скамейках. Вагон дребезжит, кожаные ручки покачиваются над головой, а солнца сюда набилось столько, словно оно-то и есть главный пассажир.

Люба запела - губы зашевелились. Потом я услышал голос тети Веры: "Фонарики, фонарики, свет юности моей..."

Трамвай то катился плавно, то дергался рывками, он вел себя как человек после долгой лежачей болезни - привыкал к движению, шуму, работе...

Крепко ухватившись за гладкие края скамейки, я прикрыл глаза. И тотчас мне в ноздри хлынул старый забытый запах, точнее, много запахов, целая смесь их. Запахи эти сладкие и теплые, как скамейка, за которую я держусь. Пахнет не просто лаком и кожей, краской и нагретым железом, смазкой и солнечным угаром... Пахнет так, словно я вновь еду на этой скамейке между мамой и папой и снова покачиваюсь в полусне и роняю голову то в папину, то в мамину ладонь. Пахнет людьми, до отказа набившими вагон, их портфелями, сумками, баулами, авоськами, пудреницами, кошельками... Пахнет душным сумраком вечернего трамвая, в котором мы возвращались домой из дальних гостей. Кажется, я снова забываюсь в неловком и чутком сне и меня снова понесут сейчас из вагона на удобных сильных руках... Пахнет всей прежней жизнью, к которой нет и не может быть возврата.

...Около Марсова поля тетя Вера остановила трамвай. Я вышел. Подбросил рюкзак на плечо. Кружка и ложка дзенькнули. Тетя Вера засмеялась:

- Пиши, солдатик!

Люба стояла на площадке. У нее - я давно это заметил - была способность мгновенно худеть, сжиматься. Лицо ее становилось вдруг узким, как нож, и совершенно взрослым. Но потом пробегал по нему какой-то внутренний ветерок и все - как прежде...

Сейчас я не мог ждать, когда подует этот ветерок. Прощание затягивалось, становилось невыносимым... Я небрежно сказал:

- Пока...

- Пока.

Неужели она сразу уйдет с площадки? Неужели не выглянет, не кивнет, не помашет рукой...

А куда я, собственно, еду, чтоб махать мне рукой?.. В школьный лагерь еду - стрелять из малокалиберки по бумажным мишеням, петь строевые песни, отъедаться сытными солдатскими харчами, отсиживаться в малине на занятиях по уставу... Чего же еще я хочу? Чтоб у околицы плакала?..

Старик в полувоенной форме вежливо прикоснулся к фуражке с красным околышем.

- Будьте любезны... Скоро ли начнет функционировать этот маршрут?

- Скоро! - сказал я. - Очень скоро!

Я вложил в эти слова всю надежду, что у меня оставалась.

Он улыбнулся.

- Это прекрасно. Спасибо, молодой человек.

Я вернулся в город к концу августа.

За лето я сочинил ей много писем. Сочинил, но не написал. В лагере все на виду, спрятаться некуда. И потом - каждое письмо я начинал и кончал такими словами, которые никогда не доверил бы бумаге.

Я вез ей подарки - красивые шишки, речную гальку, гнездо какой-то птицы, выстеленное мягким мхом...

Любу я встретил в школе, вернее, в школьной столовой. Там шумно кормили городской пионерлагерь.

Она медленно несла по проходу между столиками тарелку супа. Тарелка была полная, с верхом. Люба шла осторожно. С двух сторон к ней тянулись руки: "Мне! Мне!.."

Люба взглянула на меня поверх тарелки, оступилась, замедлила шаг, приостановилась и плеснула супом на пол. Вокруг недовольно загалдели. Люба нахмурилась и отвела глаза.

Пока она несла эту тарелку и ставила ее на стол, а над столовой висел грохот - ложки трещали о столы, скамейки, стены, - пока все это происходило, я успел разглядеть ее, и чем дальше я ее разглядывал, тем меньше узнавал, тем больше сомневался: она ли?.. То есть это, конечно, была она, Люба, но какая-то другая, совсем другая... Волосы отросли и уложены, как у тети Веры, под ленточку. Черты лица крупней и мягче. Глаза темней. Движения уверенней и шире. Вся она, вся другая!.. Рядом с нею я показался себе маленьким и нескладным, и это чувство неловкости и несоответствия не

проходило, а, наоборот, росло, по мере того, как я приближался к ней.

- Здравствуй.

- Здравствуй.

Пятьдесят пар глаз глядят на меня. Ложки перестали стучать.

- С приездом.

- Чего тут делаешь?

- Вожатой. Извини, некогда...

Раньше бы ей и в голову такое не пришло: "Извини, некогда..."

Подарки оттягивают мне карманы, глупые, детские подарки!.. Камушки, шишки - ведь это ж не ей все - это другой: той, худой, длинноносой, некрасивой...

Эта смотрит спокойно, ясно, дружелюбно, но - как на чужих смотрят и потому - чужелюбно.

Что сказать ей? Что сделать? Что спросить?

- Как старухи там?

- Баба Оля умерла. А баба Таня одна в парк не ходит.

У них были имена, у тех старух, я и не знал, которая кто...

Эта смерть меня не огорчила, не удивила, я словно уже знал о ней, знал давно. Зато возникло вдруг предчувствие иной потери...

- Морковкой угостишь?

- Нечем угощать. - Она отвернулась. - Обчистили грядку.

Ложки снова стучат. Кажется, столовая дрожит от этого треска. Теплый августовский ветер раскачивает клейкие бумажные ленты, униженные мухами. Мухи беспощадно бьются о стекла.

- Люба! Люба! Мне! Мне!..

Я вижу, как за дальним столом в косых лучах солнца блестят ее волосы. Потом я вижу всю ее - в черном проеме дверей, ведущих на кухню. Незнакомо-плавным движением она поправляет прическу, словно там, в невидимом мне пространстве, перед нею зеркало... Потом одергивает передник, оглаживает платье...

Я высыпаю на ближайший стол шишки, камушки.

- Ну, кому? Нате!

- Мне! Мне! И мне!..

Они хватают меня за руки, за штаны, чуть не лезут в карманы. Ну, это уж слишком!..

Вырываюсь из липких рук, вылетаю во двор.

- И мне! И мне! - доносится через окно.

...А мне осталось гнездо неизвестной птицы, выстеленное сухим мхом. Оно пахнет травой, землей и прошлогодним солнцем.

ГНОМ

Я встретил его в магазине "Мелодия" через много лет после детства и поразился, что узнал. Узнал не только потому, что лицо его, характерное размытостью всех черт, застыло раз навсегда в том, знакомом мне, состоянии. Вот еще почему узнал: на нем был старомодный полотняный белый костюм, тубетейка (конец июля, пыльный сухой полдень), а через плечо старинная полевая сумка из грубой свиной кожи, а может, из заменителя черно-зеленовато-пупырчатая, а ремешок брезентовый...

Я мог бы еще сомневаться, Гном это или не Гном, если б не полевая сумка. Она окончательно убедила меня. Он носил на себе знак прошлого непритязательно и скромно, как другие носят выцветшие орденские колодки. Носят, забыв о них, по инерции.

Сладко шевельнулась память, я подался к нему, но тут же включились тормоза, я вспыхнул весь внутренне и понял, что не подойду к Гному, потому что мне стыдно.

Я стоял и слушал разговор Гнома с продавщицей. Разговор был тихий, я не все улавливал, но помню, что упоминались Сен-Санс, Берлиоз. Я слушал голос Гнома и узнавал в нем те, стародавние, интонации. У него и тогда был такой вот нежный, певучий, как бы девичий, голос. Любой из нас на его месте постарался бы скрыть эту предательскую нежность за грубостью, развязностью, крикливостью... Гном не скрывал своего девичьего голоса, он ни под кого не подлаживался, не старался выглядеть грубее, чем есть. Он не мог, не умел этого.

Я слушал его голос, смотрел на него и думал: кем он стал? Почтовым работником? Учителем? Бухгалтером?.. Нашел себя в жизни или утешается музыкой после занудной нелюбимой работы?.. Откуда вообще взялась музыка в его жизни? Тогда, во время войны, ничего и похожего не было.

...Лето сорок третьего. Маленький поселок на берегу Финского залива. Запах водорослей, картофельной ботвы, запах костра - от одного воспоминания о нем сильнее бьется сердце... Запах пороха от береговых батарей. Запах кухни. Тренированный нос мгновенно разделяет его на несложные составные.

Длинный одноэтажный дом на горе. Он и сейчас стоит. Мне нечасто приходится ездить по этой ветке, но, когда проезжаю, всякий раз стараюсь опередить поезд, пораньше заметить дом, успеть наглядеться и попрощаться раньше, чем состав промчится мимо.

Дом все тот же, только крыт шифером, а тогда была дранка. Что в нем сейчас, не знаю, да и знать не хочу. Склон горы от дома к дороге теперь изумрудно-зеленый, живая нетронутая трава, а в те далекие времена, был сизый - по всему склону зрела мощная капуста.

В доме жили мы - мальчишки. Девочек поселили ближе к полям - в приземистом бараке. На стене барака суриком был выведен лозунг: "Ударной работой на полях приблизим победу над врагом!".

К тому времени мы уже не были дистрофиками, не дрожали при виде ломтика хлеба. На смену голоду мучительному, ожесточенному пришел голод озорной, веселый, опустошительный...

Моим кумиром был тогда Гришка. Отчаянный, хладнокровный, категоричный, как прямой угол. Я признал его сразу, не задумываясь, шел за ним всюду, соглашаясь с любым его решением. Подчинение Гришке было радостью.

В мальчишеской нашей ораве было несколько вожаков, несколько центров, вокруг которых остальные вились и роились, точно пчелы, всем пылом этого роя провозглашая превосходство своего клана и своего вожака над остальными.

Был широколицый белолицый Ванифатьев из тех генеральских сыновей, что спокойно и уверенно пользуются славой и привилегиями отцов. Вокруг Ванифатьева сбились ландскнехты, готовые по первому знаку броситься в бой, выполнить за него любую работу, в том числе и огородную, если он хотел спать и не выходил в поле...

Раз в неделю Ванифатьеву на генеральской машине привозили припасы. Тогда он с приятелями запирался в комнате, из которой в свое время выгнали Гнома (об этом позже), и оттуда слышалось сытое гоготание, а в окно на капустное поле летели красивые железные банки, пахнущие американской колбасой.

Был еще Борька, цыганистый паренек с диким взглядом косо поставленных глаз. Помню, однажды прискакал он к дому на лохматой водовозке, с гиканьем и свистом объехал вокруг столовой, потом резко остановил лошадь, так что дрожь прошла по костлявым ее бокам, и его тотчас окружила мрачная многозначительная свита. Говорили, Борька на руку нечист - берет у своих...

Наконец, третий центр притяжения - мой Гришка. Вокруг него кругами ходили многие, да он был недоступен. Мы жили с ним в одной комнате - я и Вовка Углов, - потому и стали оруженосцами. Я в большей степени, Вовка в меньшей - по причине своей лености.

У Гришки было рано определившееся волевое лицо, лицо взрослого мужчины, костистое, с выступавшими скулами. Я взял недавно старую школьную фотографию - вот он, Гришка: резкие, четкие линии губ, лба, носа, подбородка. Родись он на два-три года раньше да окажись здоров - уж то-то был бы герой, разведчик, подрывник, храбрец первой руки.

Авантюренность в натуре. Прекрасно развитый торс. При небольшом росте Гришка кажется борцовски сильным. Ниже пояса носит бандаж - грыжа. Теперь я думаю, что многие свои "подвиги" Гришка совершал из чувства противоречия, желая доказать себе и другим, что он может все - вопреки болезни.

Дружить с Гришкой нелегко. Чтобы заслужить его доверие, надо постоянно рисковать. Мне приходилось преодолевать трусость, нерешительность и другие недостатки натуры.

Зато с Гришкой за неделю испытаеть столько приключений, сколько другому за год не выдаться.

Мы подкапывали картошку на приусадебных участках с мрачными табличками: "Осторожно, злая собака!" Но то ли действовали мы сверхосторожно, то ли боевые свойства собак были сознательно преувеличены их владельцами, - нас с Гришкой ни разу не покусали. Между прочим: участков с собаками было два-три. Без собак - сколько угодно. На те, которых сколько угодно, Гришка не ходил.

Однажды мы унесли с совхозного парника тыкву. Тыква была пугающе огромна, с неровными живыми боками, которые, казалось, вот-вот начнут дышать. Мы несли ее в Гришкиной рубашке, почти не таясь. Закатив тыкву под кровать, уселись передохнуть. Я с наслаждением трогал голыми пятками прохладную шершавую кору тыквы. В комнату вошла бригадирша Паня и скомандовала: "А теперь - той же путёй обратно, карякины дети!" Так она ругалась: карякины дети.

Этой тыквой мы Паню сильно обидели, и она нам с Гришкой отомстила.

Ни слова не сказав про тыкву начальнице лагеря Анастасии Власовне, Паня перевела нас с Гришкой в пастухи, чему мы по неопытности обрадовались, почуяв в слове "пастух" дыхание вольной жизни.

Паня привела нас в поле и оставила там. Вокруг бродили десятка два красно-белых телят и черный бычок по имени Ротный. Мы

запалили костер, предвкушая печеную картошку.

После полудня Ротный забеспокоился. Он начал скакать по полю, мотая головой и взрывая землю копытами. Сначала он бегал кругами, потом понесся в сторону рощи, а там был овраг - мы испугались, что он переломает ноги. Телята дружно неслись за ним, мы с Гришкой бежали следом, махая палками. У самого оврага Ротный сменил направление и вскоре исчез в кустах на берегу высохшего ручья. Мы его больше не видели, только слышали треск сучьев. Сначала среди кустов мелькали рыжие и белые пятна, потом и телята исчезли. Мы выдохлись и потеряли стадо.

Измученные приплелись на ферму. У ворот стояла Паня, скрестив руки на груди. Молодые работницы привели Ротного, бока у него еще ходили. Паня погладила Ротного и сказала: "К награде представляю".

Гришка молча повернулся и пошел прочь. Я побежал за ним. По спине нас огрели смехом. Это было поражение. Гришка пережил его с достоинством, на следующий день в пастухи мы не пошли, за что нас (в который раз уже!) вызвали на разбор.

На разбор нас с Гришкой вызывали часто. Пошли в запретную зону разбор. Провели ток в ручку двери - разбор. Попались с ворованной картошкой - разбор. Нашли мину и пытались взорвать ее - страшный разбор...

На всю жизнь запомнил я скамейку, на которую сажали нас, когда разбирали. Скамейка эта еще до войны была изрезана ножами, - может, стояла у входа в клуб. Были там, как водится, имена, фамилии, формулы отношений под знаком плюс, крутые высказывания о жизни. Не скамейка, а сплошной узор. Когда-то ее покрасили черной краской, желая вернуть ей приличный вид, но в некоторые глубокие вырезы краска не попала. Нелегко сидеть на письменах! Анастасия Власовна понимала это. Когда мы просились встать, она говорила: "Сидите, сидите, голубчики...".

"В дни, когда отцы и братья ваши... когда матери и сестры..." Так начинала разбор Анастасия Власовна. Вовка Углов однажды опередил ее. Только нас посадили на скамейку, он провозгласил: "В дни, когда отцы и братья..." Анастасия Власовна покачала головой: "Раз такие сознательные, морали читать не будем. Два наряда вне очереди - марш на кухню!"

Я запомнил ее старческую моложавость, седую прядь, падающую на глаза, морщины в уголках рта, манеру по-мужски держать

папиросу, мелкое дрожание пальцев в минуты волнения. Когда она увидела нас с Гришкой около мины, она схватилась за грудь и долго не могла слова произнести.

Самое неприятное для меня в этих разборах было вот что: все понимали, что главный в наших похождениях Гришка, а мы с Вовкой - так, сбоку припека. Ну, ладно, мол, он-то отпетый, а вы, вы как же?!

Такое публичное признание нашей неполноценности было для меня невыносимо. Я не хотел, чтоб меня отделяли от Гришки. Я жаждал равного суда и не получал его.

Гном был маленький, тщедушный. Казалось, он давно должен к кому-то сильному прилепиться, чтобы тот его защищал, охранял...

По приезде его поселили в комнате, которую занимал Ванифатьев с дружками. Но через несколько дней вещевой мешок Гнома вышвырнули в коридор, а следом и его самого.

На шум прибежала вожатая Вера Рюмина.

- Что случилось, Валентинов?

Гном стоял отвернувшись. Тогда Рюмина заглянула в комнату.

- Что тут у вас?

Она говорила строгим голосом, а сама улыбалась. Ей нравился большой вальяжный Ванифатьев.

- Он во сне кричит! Зубами щелкает! Квакает! Лаает!.. - закричали ванифатьевцы.

Рюмина махнула рукой - да ну вас! - и обратилась к с а м о м у мягко:

- Скажи ты, Жора.

Ванифатьев, развалясь на койке, не поворачивая головы, процедил:

- Уберите Гнома. Чокнутый. Орет ночью, спать мешает.

Рюмина с любопытством оглядела Гнома. Он стоял все в той же позе, разглядывая носки своих ботинок.

- Валентинов, - сказала она, - это правда, что ты ребятам спать мешаешь?

Гном посмотрел на нее рассеянно, пожал плечами:

- Не знаю...

В комнате захохотали. Гном сказал:

- Переведите меня, пожалуйста, в другую палату.

Рюмина задумалась. Всюду теснота, комнаты маленькие, койку лишнюю втиснуть некуда.

- Знаешь, Валентинов, - сказала она, - мы подумаем, кого

поселить на твое место, а пока, если хочешь, поночуй здесь... - и она указала на дверь, едва приметную в тени чердачной лестницы.

То была нежилая комната. То была вообще какая-то странная комната. Потолок, скошенный неправильной пирамидой. Окно в коридор, вернее, в сени. Свет в комнату попадал, когда наружную дверь открывали. Впрочем, запирали ее только на ночь. Любой из нас переживал бы, попади он в этот чулан. Гном - нет. Он обрадовался, повеселел. Он что-то целый день устраивал в своей конуре, мурлыкал какую-то песенку. Он открыл окно и протер его мокрой тряпкой.

Вечером о переселении узнала Анастасия Власовна. Она отругала Рюмину, да так, что все слышали, и твердым шагом направилась восстанавливать порядок и справедливость.

И вот Анастасия Власовна стоит по одну сторону Гномова окна, а тот по другую, и между ними происходит разговор:

- Валентинов, немедленно забирай вещи и - назад!

- Не пойду.

- Как это "не пойду"? Я как начальник лагеря...

- Не сердитесь, Анастасия Власовна, не пойду.

- Что это значит, Валентинов?!

Анастасия Власовна не ожидала, что нарвется на такое упрямство. Думала, подействует командирский тон, который обычно действовал безотказно.

- Ты индивидуалист, Валентинов, - обронила она со вздохом.

- Зря вы переживаете, Анастасия Власовна, - сказал Гном, - мне тут хорошо.

- Валентинов! - закричала она. - Да ты понимаешь, что я не имею права тебя здесь держать?! Согласно санитарным нормам! Это ты понимаешь?

- Понимаю, - тихо сказал Гном. - Если что, я скажу, что я сам, а что вы не разрешали...

Анастасия Власовна оглядывается на нас: посмотрите, каков! А?..

Красивый Ванифатьев советует, поводя крутыми плечами:

- Да бросьте вы с ним возиться. Это ж Гном...

- Ва-ни-фать-ев!.. - горячим шепотом выдыхает она ему в лицо собственную его фамилию, и сейчас фамилия эта звучит как выражение такой глубокой человеческой укоризны, что даже Ванифатьева проняло - отвернулось.

Анастасия Власовна восклицает:

- Ах, Валентинов! Ну что ты за человек! Особые условия тебе

создать, что ли!..

Последняя фраза вырвалась у нее, как говорится, из сердца и возбудила, ожесточила нас. Мы словно увидели вдруг черту, жирную, резкую: по ту сторону - Гном, а все остальные - по другую. Не скрывая раздражения, мы закричали:

- Да пускай живет! Давай, Гном, в пещеру!..

Анастасия Власовна тут же опомнилась. В сущности, не злая женщина, а главное, человек долга, она устала, у нее свои несчастья, сын пропал без вести - вот уж второй год, как пропал... Она была человеком долга, а кроме того, свято блюла закон педагогического равенства: никого не выделять, ко всем относиться одинаково, а тут она, по-моему, ловила себя на том, что Гном ей неприятен, и от этого страшно досадовала. Непонятен, а потому неприятен. Разумом-то она понимала, что Ванифатьев, с его дурацкой самоуверенностью и барством, - вот уж кто неприятен безусловно! Пожалуй, во сто крат неприятнее Гнома. Но это разумом, а чувствовала она, кажется, другое. Ванифатьев, с его добродушной ухмылкой, распространял вокруг себя атмосферу приятной покладистости, спокойной силы, с которой нельзя не считаться, а этот Гном - она знала его прозвище - и в самом деле Гном: голова втянута в плечи, спина круглится, морщины стариковские на лбу, уши настороженно прижаты, одутловатое лицо, желтые тени под глазами...

- Вот что, Валентинов, у меня много дел, - она старалась говорить как можно мягче, - у меня очень много дел, я не могу здесь с тобой пререкаться. Хорошенько все обдумай и приходи ко мне в кабинет после ужина...

Почему Гном был один? Точнее, почти один. Что означает это почти, я объясню несколько позже.

Сейчас я понимаю: виной тому была блокада. Она его цепко держала и не отпускала. Я знаю таких людей - вот уже больше тридцати лет прошло, а блокада всё не отпускает их...

Мы все тогда ожили, а его она держала цепко ледяными пальцами, не давала головы повернуть в сторону, заставляла его смотреть и смотреть на какие-то одному ему ведомые жестокие картины.

Те, кого она не отпускала, отличались от остальных. Они были замкнуты, малоподвижны, старчески задумчивы и болезненно экономны, вплоть до ожесточенного накопительства. Последняя черта была роковой.

В столовую мы врывались как ураган. Минута - и столы были чистыми. Суп, каша, хлеб - все исчезало мгновенно.

Гном вел себя иначе. Он ел медленно, словно нехотя, растягивая удовольствие. Он отщипывал хлеб микроскопическими крохами и долго пережевывал их, склонив голову, будто прислушивался к чему-то внутри себя. Уже этим он раздражал всех. Его передразнивали, он делал вид, что не замечает. Когда же на стол приносили тарелки с маленькими кубиками масла и сахарный песок в кружках - чай мы наливали сами, - начиналось священнодействие. Из полевой сумки, которая всегда висела у него на боку и в поле он с нею не расставался, - Гном доставал две пластмассовые банки. В одну складывал масло, в другую сыпал песок. Потом корочкой хлеба аккуратно стирал масляный след на тарелке. Делал он все это не торопясь, сосредоточенно, ни на кого не обращая внимания. Однажды манипуляции с баночками заметила повариха Дуня.

- Дистрофик несчастный! - закричала она, грозя Гному поварешкой. Загнуться хочешь!..

Подбежала Рюмина, потом Анастасия Власовна - все кричали, размахивали руками над Гномом. Он отмалчивался. После того случая стал осторожней и открывал свои баночки, когда воспитателей рядом не было.

Теперь о "почти". "Почти" - это Галя Рейкина (Палкина, как ее у нас звали). Рейкина-Палкина относилась к Гному с необычной для ее возраста мрачновато-страстной заботливостью. В этом было что-то материнское, даже старушечье... Нескладная, некрасивая, с вечно нечесанными патлами белых волос, с походкой враскачку, Рейкина была смешна. Рядом с нею Гном обнаруживал весь свой ничтожный росток. Голоса их - один девичий, тонкий (Гнома), другой басовитый, основательный (Рейкиной), - казалось, нарочно звучали рядом, чтобы вызвать улыбку. На это стоило поглядеть - как Рейкина медленно проволакивала вслед за Гномом свои нескладные длинные ноги, как гудела: "Димка, шапку надень, голову напечет!.."

Рейкина единственная звала его по имени, помогала ему выполнить норму в поле, мыла пол в его пещере, стирала Гномово бельишко. По правде говоря, я сначала думал, что это Гномова старшая сестра, да и все так думали, а когда узнали, что Рейкина не сестра, а просто так, началось веселье. Их дразнили и вместе и порознь: "Жених! Невеста!.." Гном отмалчивался, такая у него была натура. Зато Рейкина вспыхивала как бенгальский огонь: "Невеста?"

Завидно? Иди-иди, а то рожу расцарапаю!" И угрожающе выдвигала вперед подбородок.

Рейкина себя не жалела, это все знали, а потому боялись с ней связываться. Несколько мальчишек уже ходили по лагерю с украшениями на щеках.

Некоторые звали Рейкину "психичкой" за приступы ярости, которые время от времени бывали у нее.

Всякий нормальный мальчишка давно бы отшил Рейкину. Но Гном не был бы Гномом, поступи он как все. Гном никогда не сердился на Рейкину за ее чрезмерные заботы о нем и сносил безропотно ее покровительство. (Было, правда, одно исключение, о нем я потом скажу.) Гном звал ее Галей, разговаривал с нею без малейшей насмешки и вообще был слишком погружен в свои мысли, чтобы вникать в то, что происходило вокруг.

А исключение было вот какое: когда шли домой с поля, Рейкина всегда порывалась взять у Гнома лопату, лейку, тяпку - ну, что он там нес. И тут Гном оказывал неожиданное сопротивление, которое тогда мне было не очень понятно. Теперь, когда я вспоминаю ту пыльную ухабистую дорогу, которой мы возвращались с полей в лагерь, дорогу, обрамленную репейником, чахлым шиповником и малиной, дорогу с редкими валунами, выкаченными на обочину с поля, - когда я вспоминаю эту дорогу и на ней Гнома, несущего на плече лопату, мне кажется, я его понимаю: это не лопата - это винтовка, флаг. Это, быть может, единственное тогда открытое проявление гордости, которой он вовсе не был обделен.

Рейкина страдала от того, что Гном копил масло и сахар. Я сам слышал, с какой яростью она шипела на него: "Димка, не смей, выкини банки!.." Потом восстала: "Не ешь - и я не буду!" У всех на глазах два дня она отдавала сахар и масло самым слабеньким девчонкам.

Вначале на Гнома это подействовало - он, словно нехотя, намазывал хлеб маслом... Потом, крадучись, вытащил банку...

Рейкина, простив ему слабость, продолжала опекать его с прежней слоновистой настойчивостью.

После случая с миной нас с Гришкой чуть не выгнали. О это многозначительное "чуть"! Сколько раз грозили нам исключением, отправкой в город - сколько раз! Но ни разу угроза эта не была приведена в исполнение. Город был под непрерывными бомбежками и обстрелами, и не для того нас сюда привезли, чтобы вдруг, пусть

даже за серьезный проступок, отправить обратно под вражеский огонь. Мы прекрасно понимали символический смысл этой угрозы, но делали вид, что относимся к ней серьезно, - как будто и мы, и воспитатели наши играли в какую-то странную игру, где все договорились скрывать истинный смысл вещей.

На очередном разборе крайнюю меру заменили более мягкой - нас постановили расселить. Мне приказали перебираться к Гному.

Сейчас я думаю, что воспитатели вовсе не хотели унизить меня переселением в Гномов чулан, тем более что с его легкой руки комната стала вполне обитаемой. После того вечернего разговора с Гномом один на один Анастасия Власовна оставила его в покое.

Я старался представить себе, о чем они там говорили после ужина в кабинете Анастасии Власовны. Но если после этого разговора она позволила себе оставить его в "пещере", если она не применила к нему крутых мер, если не испугалась, что к ней может привязаться неожиданная комиссия, значит, разговор у них с Гномом был серьезный и важный, и не только для него, но и для нее, старой учительницы, пережившей многие педагогические моды и оставшейся верной здравому смыслу и естественным движениям души.

Гришка считал: покажи характер и никуда не уходи. Надоест - отстанут. И я послушался, но на следующее утро пришла Анастасия Власовна и сказала глухо, в сторону:

- До обеда не переедешь - матери напишу.

Когда я переступил порог Гномовой комнаты, увидел его приветливое лицо и услышал такой не мальчишеский мелодичный голос: "А я тебе уже место освободил..." - я даже сплюнул от злости. Нужна мне его забота!

На ком было сорвать раздражение? Конечно, на Гноме. Я и оправдать себя мог легко, если б захотел. Тогда в моих глазах несоответствие Гнома всем нашим мальчишеским понятиям и нормам, его неловкое выпячивание из общего ряда само по себе служило достаточным основанием для обвинения его во всех моих бедах.

- Сарай, - презрительно сказал я, оглядев голые дощатые стены (в других комнатах были хоть старенькие, да обои). - Не видно ни фи́га. Ослепнешь тут...

- Разве темно? - искренне удивился Гном. - Нет, сейчас не темно. А вечером свет зажжем, я лампочку хорошую достал.

Он огляделся в своем жилище, как бы приглашая меня познакомиться с ним повнимательнее. Невольно вслед за его взглядом я прошелся по стенам. Там были прибиты картинки из "Огонька" - портреты каких-то героев, фотографии - ястребки в небе, морская пехота идет в атаку, старый чабан в высокой шапке провожает сына на фронт...

Слева от окна в глубокой косой нише, где потолок под углом сходил на нет, стояла Гномова койка, аккуратно прикрытая серым солдатским одеялом со штампом "ноги". Рядом, на стуле - книги.

Светлей всего было у стены, противоположной окну. Я сказал:

- Здесь койку поставлю.

- Здесь, здесь, - заторопился Гном радостно, - тут хорошо, светло!

- Светло! - усмехнулся я и вспомнил: "А я тебе место освободил..." Значит, его койка раньше тут стояла. Я разозлился: - Вот что, Гном, вали обратно, мне подачек не надо.

- Да что ты, что ты! - Гном засуетился, покраснел. - Это так, пока, потом поменяемся, по очереди будем, ладно?..

Он как бы услужливо предлагал лазейку для моего самолюбия "пока...".

- Ну ладно, если пока, - проворчал я, а сам подумал: "Раз ты дурак, пусть тебе будет хуже..."

У Рейкиной на этот счет было свое мнение. Она ворвалась в комнату ("Стучать надо", - сказал я. "Еще чего!" - ответила Рейкина), увидела мою койку на месте Гномовой и зашипела:

- Это еще что? Димка, я его сейчас вышвырну!

Гном подошел к ней и тихо проговорил:

- Не надо, Галя. Видишь, его наказали...

- Исусик несчастный! - закричала Рейкина и хлопнула дверью. Тут же она вернулась: - Рубашку не надевай, я очередь за утюгом заняла!..

- Санчо Панса, - сказал я презрительно, когда она ушла.

- А тебе не нравится Санчо Панса? - серьезно спросил Гном.

Конечно, он мне нравился. Но не мог же я сказать этого Гному. Я выругался - обида душила меня.

Кто-то встал у нашего окна, заслонил свет, крикнул:

- Эй, гномишки, как делишки?!

Вот так. Я презирал Гнома, я был по ту сторону ч е р т ы, с ними, а им уже наплевать на меня, они уже зачислили меня в "гномишки"...

Я взглянул на Гнома и увидел по его лицу (хотя он и прятал

глаза), что он все понимает, жалеет меня, боится показать свою жалость и мучается этим...

- Здесь прохладно, - сказал он, - на улице жара, а здесь хорошо, верно?

- А мне наплевать! - заорал я. - Наплевать! Понял? Я в этой яме жить не хочу! И не буду! Понял?..

...Я обиделся на весь мир, и на Гришку в первую очередь. Почему не его, а меня переселили? Почему?!

Обида накатывала волна за волной, и я забывал свои прежние чувства: желание быть на равных с Гришкой, стыд за мою роль помоганца... Теперь в порыве обиды я готов был все валить на Гришку. Со мной поступили несправедливо - так я считал. А Гришка от меня отвернулся - это ясно.

Я мучил себя, представляя нашу светлую комнату с окном на залив, откуда вечером, в темноте, видны были мрачные всполохи огня в стороне, где город.

За Гришкой всюду бегал теперь, забыв свою лень, Вовка Углов. Вовка подмигивал мне при встрече, - дескать, у нас тут такое... Он словно носил за Гришкой мешок его секретов.

"Значит, никакой дружбы не было, - думал я, - просто жили рядом, вот и все..."

Сначала я избегал Гришки, потом не выдержал, подошел к нему. Взгляд его был холоден, безразличен. Мне бы опомниться, уйти, а я сказал что-то вроде: "Чего злишься?" Глупее и унижительнее придумать нельзя!

- Я? Злюсь? - он усмехнулся. - С чего ты взял?

Тут меня понесло:

- Значит, не дружим больше, да?

- С тобой-то?.. Характера у тебя маловато. Приказали - ты и лапки кверху.

- Зато у Вовки характер.

- Вовка солдат. От него больше не требуется.

Я не нашелся, что ответить. В том, что сказал Гришка, была и правда и неправда, как раз в том сочетании, которое ранит больней всего...

Я не спал по ночам, я чуть не плакал, я обдумывал планы мести и тут же отбрасывал их один за другим, потому что Гришка был неподвластен моей мести. И получалось так, что я по-прежнему вымещал свои обиды на том, кто был рядом, кто был слабей меня, -

на Гноме.

Когда он хотел читать - я тушил свет. Когда он хотел спать - я зажигал свет и лениво листал какую-нибудь книжку, хотя глаза мои слипались. Когда он закрывал окно - я открывал его. И наоборот.

Особенно распаялся я при свидетелях. Мы были отверженные, с нами не считались. На наше окно садились, заслоня свет, походя кричали: "Гномики, ку-ку!" Гном все терпел, а я кипел от злости. Мне казалось ужасным, ужаснее, чем развал моей дружбы с Гришкой, быть "гномом", ходить в "гномах". Я старался, чтоб все видели, чтоб все слышали, как я презираю Гнома. Чтобы все знали: если мне приходится жить здесь, это еще не значит, что мы с ним кореша. Стоя у окна, я балаганил, я созывал зрителей, я предлагал им вместе поиздеваться над Гномом. "Спешите! - кричал я. Скорей сюда! Гном в пещере! Последний гном! Спит на хлебных корках!.."

Гном молчал. Меня пугала его неуязвимость. Я ненавидал его за нежелание взорваться, возмутиться, броситься на меня с кулаками.

Какие там кулаки! Он был полон доброжелательства, он хотел общаться, он был рад, что не один теперь...

Говорит мне вечером:

- Как ты думаешь, что с Землей будет?

- Что-о?! - В эту интонацию я вкладываю все пренебрежение к нему, ко всем его вопросам, настоящим и будущим.

- Как что? - волнуется он. - Смотри: воду выкачивают, нефть, уголь, железо берут...

- Ну? - подначиваю я его насмешкой. Он ее не замечает.

- Так ведь пустая когда-нибудь станет. Одна скорлупа останется! Что тогда?

- Дурак ты. Ничего особенного не будет.

- Нет, будет! - Голос его понижается до шепота. - Масса меньше станет!

- Ну, меньше, - соглашаюсь я нехотя.

- Значит, изменится орбита, - говорит Гном, - а если орбита изменится, всем хана. Наступит всеобщий мрак и лед.

- Трепотня!

- Да нет, это серьезно! Очень серьезно! И знаешь, есть выход!

- Какой?

- Надо накачивать пустоты каким-нибудь газом.

- Ай да голова!

- Только вот не знаю каким. Газ взорваться может...

Я издеваюсь над ним, а сам думаю с завистью: "Черт, откуда у него все это в голове?.."

- Куда вы, куда?! Здесь нет ничего! Миленькие, не трогайте! Руки обжег, руки, у-у-у-у, задымились... Пустите меня, ну, пустите, здесь мертвые все, я не хочу, пустите... сахар, сахар, сахар... это не лед, это сахар, кусочек отколи, кусочек...

Это был голос Гнома. Я вскочил, бросился к выключателю, потом к его постели. Свет напугал его. Он замахал руками, прикрыл лицо и забормотал что-то совсем уж невнятное. Я схватил его за плечо:

- Гном! Проснись! Слышишь!

Глаза его открылись - нет, они как бы внезапно появились на лице, где их до того не было... Он ничего не понимал.

- Гном, ты бредил!

Наконец он посмотрел на меня осмысленно:

- Что-то приснилось... Жар, холод...

Я стоял перед ним в майке и трусах, и, хотя ночь была не холодная, меня била дрожь.

- Ну ты, спи, - сказал я, чтобы как-то закончить все это, и пошел к своей койке. Я сел на нее, лечь я боялся, мне казалось, только лягу опять начнется.

Долго я не спал, прислушивался к дыханию Гнома, и от того, что я был полон этим прислушиванием и ожиданием нового бреда, я все не спал, не спал и только к утру забылся.

Разбудил меня Гном.

- Вставай, завтракать пора. Я на кухне был, сегодня пшенка...

Все это он сообщал мне с извиняющейся улыбкой.

Я отвернулся к стене. И тут же услышал тихий, словно спотыкающийся голос Гнома:

- Ты... ты знаешь...

Я молчал и не поворачивался к нему. Я втянул голову в плечи и держал ее так, сильней и сильней напрягаясь. Гном почувствовал всю силу моей ожесточенности и ничего больше не сказал, хотя спиной я чувствовал, чего ему это стоило. Я лежал и тянул пытку. Потом стало больно и тесно в груди. Я судорожно вдохнул воздух, и что-то словно разрешилось во мне. Я повернулся и сказал:

- Не смей больше бредить! А то...

Я говорил в пустую комнату. Гнома не было.

На следующую ночь он снова разговаривал во сне. И еще подряд

три ночи. Каждый раз я просыпался, словно что-то подбрасывало меня на койке, вскакивал, бежал по холодным половицам, расталкивал его безжалостно и при свете голый лампочки видел его одутловатое лицо, на котором каждый раз заново вырастали глаза...

Потом я заворачивался в одеяло и сидел, опустив голову в колени. Я ждал, когда это снова начнется, и проклинал всех на свете - Анастасию Власовну, Гнома, Гришку... Я ждал, ждал, но бред не повторялся. Гном спал крепко, всхлипывая иногда, словно захлебываясь слезами.

Утром Гном избегал меня, старательно обходил стороной, заговаривать не пытался, а я делал вид, что не замечаю его.

На четвертую или на пятую ночь я разбудил Гнома и, схватив в охапку одежду и одеяло, выскочил в коридор. В ночной тишине под моими ногами громко скрипели разошедшиеся половицы. Я подкрался к бывшей своей комнате и постучал. Подождав, я постучал еще раз, сильнее. Ни звука. Тогда я ударил ногой в дверь, коротко и зло. Заскрипела койка, зашлепали по полу босые ноги, и за полуоткрывшейся дверью показался заспанный, лохматый Вовка Углов. Он стоял наклонясь вперед, скрестив на плечах худые руки, почесывался. Я шагнул мимо него в комнату.

- Куда, куда? - забормотал Вовка.

Там, где стояла раньше моя койка, спал теперь Коля Бусов. Он спал на животе, раскинув руки и ноги, будто плыл.

- Чего ты? - опять спросил Вовка.

Я и сам не знал чего. Пока я шел сюда, я вроде бы готов был на что-то серьезное решиться... Теперь - этот Коля Бусов, а рядом - очертания Гришкиной кровати и сам он, спокойно спящий на спине, руки за голову...

Нет, эта комната была мне уже чужой. Как и та...

Я вернулся к Гному. У него горел свет. Он сидел на койке и ждал меня. Я видел, что он и обрадовался и растерялся, когда я вошел.

Я постелил постель, лег. Гном спросил:

- Ты спишь?

Я молчал.

- Ты не спишь?

Я молчал, но какая-то неуютность была в этом моем молчании, словно не его я обманывал, а себя, и это было противно.

- Ну? - сказал я наконец.

- Не говори никому, ладно? - быстро сказал Гном. - Я... я не буду

больше.

- Чего не будешь? - спросил я, хотя прекрасно знал, о чем он.

- Ну, разговаривать... ночью...

- Ах вот что! - Я захохотал как-то неестественно громко. - "Сахар, сахар! Отколите кусочек! Они все мертвые!.."

- Это правда? Я так говорю? - спросил он тихо.

- А ты что, не знаешь? - удивился я.

- Нет, - просто ответил он.

- Вот оно что... - Я как-то даже растерялся.

- У меня все... в сорок первом... - Гном проглотил слюну, а может и слезы. - У меня все - мама, тетя, сестренки... я не мог сутки дверь открыть... а на лестнице...

А на лестнице - я догадался - на лестнице никого не было, потому что там все умерли.

- Я изрыл ее топором, и сломал, и вышел...

Мы сидели на своих койках и молчали, а ночь медленно превращалась в утро. Потом Гном сказал:

- Ты не думай, я в дружбу не навязываюсь...

- У тебя Рейкина есть, - не удержался я.

- Галя добрая, - сказал он, - только глупая. Лучше глупый, чем злой...

Я копал картошку, а следом шли ребята с ведрами - подбирали. Работали тройками - один копал, двое подбирали и носили. Я услышал хруст и понял, что разрезал картофелину, и тут же увидел разрез - сочащийся, розовый... Мне стало жаль клубня, я откопал его, стараясь не запачкать. Меня кто-то позвал. Я обернулся - Гном. Я сразу понял: что-то с ним случилось. Он был жалкий какой-то, губы дрожали.

- Сумку... Мою сумку не видел?

- Нет. - Я заметил на глазах его слезы. - Ты чего? Найдешь...

- Уже искал. Я повесил на дерево. Они попросили ящик поднести...

- Кто они?

- Борька...

- Куда ж она подевалась? - Я все понял.

- Не знаю...

- Не знаешь! - Я опять разозлился на него. - Дождался, накопитель! Я вонзил лопату в землю. - Дождался!

- Что я тебе сделал? - спросил Гном. - Что?

Я отвернулся. Но мне хотелось знать, что будет дальше. Я посмотрел через плечо. Гном стоял в конце межи, напротив Борьки, который покачивался, опершись на лопату, и сплевывал себе под ноги. Я не слышал, о чем они говорили, только Борька взял Гнома за курточку, потрянул и отбросил от себя. Гном упал, медленно поднялся, огляделся вокруг... За кустами кто-то хохотнул коротко и замолк, словно рот ему зажали.

Спотыкаясь, Гном побрел к дороге.

...С другого конца поля, перескакивая через кусты картофеля, неслась Рейкина. Она с ходу набросилась на Борьку, схватила его за волосы, опрокинула на землю, стала пинать ногами. Из-за кустов выскочили его дружки, Рейкина размахивала руками, не подпуская к себе мальчишек, а те окружали ее, пританцовывая и гогоча...

Посреди поля на ящике сидел Гришка. Он подначивал:

- Давай, Рейкина! По роже его, по роже! А вы чего, пацаны! Сдрейфили!.. Хватай ее за волосы, ты!..

Рейкина дралась молча, ожесточенно. Потом вдруг ни с того ни с сего остановилась как вкопанная, огляделась растерянно - Гнома искала, что ли и ее сильно ударили по лицу. Она всхлипнула, закрылась руками, но тут же выпрямилась, схватила лопату, закричала:

- Заразы! Сволочи! Убью!

- Психичка! - закричал Борька.

Мальчишки отскочили, рассыпались. Рейкина бросила лопату и побежала к дороге. Никто за ней не гнался, но бежала она так, словно ее вот-вот догонят и начнут бить.

Я вернулся к своей меже. Стал искать ту картофелину. Наконец нашел. Она обвалялась в земле и больше не блестела.

На дворе около столовой дымилась куча белесого пепла. Пепел был легкий и светлый, шевелился под ветерком. Подошла Вера Рюмина.

- Что случилось с Валентиновым?

- А что? - на всякий случай спросил я.

- Да вот - вытряхнул сено из матрасника, поджег, вещи собрал и - на станцию...

Я рассказал ей, что было в поле, только про Рейкину смолчал.

- А вы что, вступить не могли?

- Кто мы?

- Ну, ты, Гриша...

- Буду я за нее вступаться!

- За нее? За кого это "за нее"? - Рюмина подозрительно прищурилась.

- Ну, за него...

- Ты же в одной комнате с ним живешь! - воскликнула Рюмина.

- Не живу, а переселили! - огрызнулся я.

Рюмина махнула рукой и пошла со двора.

В комнате на пустой Гномовой койке сидела Рейкина и ревела. Она поглядела на меня с такой ненавистью, что я сразу ушел. Я долго стоял посреди двора и смотрел на живой белый пепел, шевелящийся у моих ног.

Во время обеда Рейкина взяла миску с супом, подошла к Борьке и выплеснула суп ему в лицо. Он дико закричал. По черным его волосам, по рубашке растекалась лапша.

Рейкина убежала. Вечером мы узнали, что она тоже уехала в город.

Гном медленно прошел мимо меня, бережно держа в руке только что купленную пластинку. Костюм на нем был ношенный, но тщательно отутюженный. Из-под коротких брюк виднелись нелепые ярко-зеленые носки и сандалии, детские, с дырочками, которых теперь никто не носит, разве что пенсионеры. Еще я заметил краешек улыбки, обращенной в себя. Полевая сумка елозила по бедру, когда он шел.

Я отодвинулся в тень и спрятал глаза. Я сделал это невольно, когда проходил мимо.

Потом я посмотрел в окно и увидел Гнома уже на улице, рядом с женщиной. Женщина была на голову выше Гнома и шире в плечах. Она несла тяжелые авоськи. Я видел, как упорно Гном пытался отнять у нее одну авоську. Наконец это ему удалось. Женщина недовольно повела плечом, что-то сказала... Потом подбородком дернула - вперед... Он пошел рядом с ней, маленький, в мешковатом костюме...

Я вышел на улицу, догнал их. Женщина купила два эскимо. Потом снова сделала это движение подбородком. Неужели Рейкина?..

Я обошел их быстро, повернулся, пошел навстречу. Да, это была Рейкина. Немолодая, строгая Рейкина, стриженная, ширококостная. В авоське она несла яблоки, горшочки для цветов, длинные кривые огурцы, ярко-красный игрушечный автомат, еще что-то... Гном задумчиво поедал эскимо. Рейкина шла чуть впереди и, как ледокол,

расчищала ему путь. Когда она шла, все сторонились или отводили плечо в сторону. Я тоже отвел плечо.

НАША С ВОЛЬКОЙ БОРЬБА

Однажды - в четвертом классе это было, не помню уже, при каких обстоятельствах, - я вдруг полюбил бороться. А у меня был друг - Ким Ольшанский, очень сильный человек. И вот, как только я полюбил бороться, дружба с Кимом потеряла для меня всякий интерес. Когда я смотрел на Кима, я сразу представлял себя на обеих лопатках. Бороться с Кимом не имело никакого смысла.

А раньше я с ним дружил и подчинялся ему во всем, вырезал вместе с ним картинки из книг и журналов, наклеивал их в тетради. Чистых тетрадей нам всегда не хватало, и мы заполняли картинками свои рабочие тетради по русскому и арифметике. Но все это было раньше, до того как я полюбил бороться. Как только я полюбил бороться, я понял, что с Кимом мне больше не дружить.

Был у меня еще один друг. Звали его Ратмир. А фамилия Лях. Мы с ним сидели на одной парте, пока нас не рассадили за вечный смех. Мы вечно смеялись.

У этого Ратмира Ляха был знаменитый отец. В молодости он бежал из царской тюрьмы.

Ратмир был очень хороший друг. Я любил сидеть за столом рядом с его знаменитым отцом, кушать разные восточные сладости и пить из большой пиалы крепкий, подернутый дымкой чай. Мы с Ратмиром славно проводили время. Рассматривали жуткие медицинские книги его матери, играли в карты, фантики... Но все это до тех пор, пока я не полюбил бороться. Как только я полюбил бороться, мне стало неинтересно дружить с Ратмиром - он был маленький, как первоклассник. Я борол его одной левой, да притом опасался, как бы не переломать ему косточки.

И наконец, у меня был еще один друг - Волька, Воля, Вольдемар. Каждый раз, когда мы с ним встречались, мы боролись. Оба нескладные, неловкие, мы пыхтели, шумно ворочались, вокруг падала мебель, если борьба происходила в комнате. И никто никого не побеждал. Силы у нас были равные.

Когда Воля приходил ко мне, мы боролись. Когда я приходил к нему, мы боролись. Мы боролись на диване, на стульях, под столом, в коридоре, в ванной. Мы боролись в Александровском саду, на траве, пока сторож не высвистывал нас оттуда. Мы боролись на асфальте, на снегу, в песке. Мы боролись в трамвае, но там нам сильно мешали.

Мы боролись в вестибюле музея Эрмитаж, куда нас приводила историчка Ксения Владимировна, чтобы показать, как было до нашей эры. Мы боролись за партой, пока нас не рассадили. Меня к Ратмиру, а его - к одной девочке. Звали ее Наташа, но сейчас это не имеет значения.

Итак, другие играли в футбол, в шахматы, в лапту. А мы боролись, и нам этого вполне хватало. В короткие промежутки между борьбой мы разговаривали про знаменитых борцов, высмеивали неуклюжие приемчики друг друга, хвастались будущими победами... А еще в промежутках мы ели, чтобы набраться сил для следующей борьбы. Во время борьбы мы многое переломали. Особенно часто ломались всякие статуэтки. Они были на тонких подставках, стояли криво и падали почти что сами.

Домашние не любили нашей с Волькой борьбы и, чуть что, растаскивали нас в стороны, как будто мы дрались.

Так мы дружили и боролись, не в пример другим, без всяких ссор, никто никого не побарывал - вечная ничья. Каждый день мы вставали с мыслью: "Сегодня!" Каждый вечер ложились с надеждой: "Завтра!" Это была прекрасная дружба. До сих пор мне радостно вспоминать о ней, даже в носу горько. Я так и вижу: ковер в Волькиной комнате, на ковре мы катаемся, а еще я вижу Волькин глаз, тот, который так не похож на другой, я уж теперь не помню правый или левый, да это и неважно. Важно другое: он выделялся своим зеленым оттенком, в то время как другой глаз был просто карим. Когда во время борьбы мне случалось заглянуть в этот зеленый Волькин глаз, он казался странно равнодушным. Весь Волька боролся, кроме этого глаза...

Мы не отступали, не хитрили, не изворачивались. Мы боролись без обмана, а когда изнемогали и один из нас хрипел: "Мир!" - другой тотчас разжимал руки.

Так мы дружили и боролись, пока не началась война. А как только она началась, все стало иным. Вся жизнь.

Вольку эвакуировали куда-то в Сибирь. Я остался в Ленинграде. Потом блокада, голод...

В конце войны Волька вернулся. Я встретил его около школы. Оба мы опешили. Да и было от чего: мы так изменились! На три с лишним года изменились!

Знаете, кто стоял передо мной? Передо мной стоял гигант, красавец, атлет с мягкой челочкой наискосок, в гимнастерке под

тугим желтым ремнем. Ворот гимнастерки распахнут, а там виднеется уголок застиранной тельняшки. Тонкая талия поскрипывает, а ногам, наверно, так хорошо, так просторно в настоящих матросских клешах!

А знаете, кто стоял перед ним? Дистрофик, жердяй, чучело! И на мне тоже была гимнастерка, братнина, но видели бы вы, как болталась она на моих костлявых плечах! А ноги... Ноги мои обтягивала знаменитая "американская помощь" с молнией на ширинке. "Американская помощь", слишком узкая и чересчур короткая, так что икры видны!

Маленькое отступление: "американская помощь" - это ношенная, но еще достаточно крепкая одежда, которую во время войны присылали нам из Штатов. Попадались иногда прекрасные экземпляры. Один мальчик из нашей школы получил кожаную куртку на байковой подкладке. Подкладка пристегивалась и отстегивалась. Этот мальчик со своим братом носили по очереди: один куртку, другой - подкладку.

...Волька, Воля, Вольдемар.

Вольдемар стоит передо мной и тонко улыбается, глядя на мои штаны. А я смотрю на него. Я не могу поверить, что человек так изменился. Он задает какие-то вопросы, я отвечаю.

- Ким здесь?

- Да.

- Наташа?

- Приехала.

- Ратмир?

- Нет.

Но думаю я в это время о другом. Я думаю: "Если мы станем бороться, он тут же бросит меня на обе лопатки, и ему станет скучно со мной. Да и бросать не надо. Достаточно поглядеть на меня и мысленно бросить..."

Я спрашиваю его:

- Вовку помнишь?

А сам думаю: "Помнишь хоть, как боролись?" Он говорит:

- Вовку? Которого? Семенова или Кузьмина?

Верно, и такой и такой были. Помнит. Значит, и про борьбу нашу помнит. И думает, конечно: "Плюнь - упадет..."

Я говорю:

- Пока...

Он тоже говорит:

- Пока...

Я понимаю: если сейчас мы разойдемся - все. Мы и так уже почти чужие. Три с лишним года прошло. К тому же он такой высокий...

Я пересилил себя, бросил думать про свою одежду и прочее и говорю:

- Волька!

Он встрепенулся. Я встал в позу борца. Правая нога вперед, левая назад и чуть в сторону. Руки настороже. Выбираю момент.

- А-ха-ха-ха! - кричит Волька. - Але-гоп!

...Я ничего не понимаю, я вишу в воздухе, вижу небо, кроны деревьев, косую школьную стену и Волькину хохочущую рожу над собой. Вы подумайте, он держит меня на руках! Он хохочет! Он подбрасывает меня в воздух! И хохочет! Он ловит меня! И снова хохочет!

- Волька, иди к черту!

Хохочет. А тот глаз - зеленый - не хохочет. Тот глаз печальный.

- Волька, отпусти!

Он ставит меня на землю. Протягивает руку. Рот до ушей. Какой же я дурак был, когда думал о нем так плохо! Вот он говорит:

- Ты с кем сидишь?

- С парнем с одним.

- Скажи ему, чтоб проваливал.

- Он не послушается.

- Я его поборю, - говорит Волька, - пошли.

БЕЛАЯ ДВЕРЬ В АКТОВЫЙ ЗАЛ

В конце школьного коридора - большая двустворчатая дверь. Молчаливая, ярко-белая, она вечно заперта, а на высоте, недоступной для первоклассника, укреплена на двух блестящих винтах синяя стеклянная табличка: "АКТОВЫЙ ЗАЛ".

Об эту дверь разбивается волна перемен. Набежит, ударится со всей силой и отхлынет, а дверь - непобедимой громадиной стоит себе, не шелохнется.

Первоклассники, точно головастики в пруду, кишмя кишат в длинном коридоре, такие одинаковые в своих синих сатиновых халатиках и толстовках. Над сатиновым морем, словно маяки, возвышаются учителя. Их задача, чтобы все двигались прямо, по фарватеру, по часовой стрелке, конечно, и чтобы при этом - никакой свалки, драки, беготни.

Первоклассник устроен просто. Он хочет туда, куда его не пускают. В том числе и в актовый зал. Даже к двери в актовый зал его не подпускают. И поэтому он туда все время стремится.

И вот какая придумана у первоклассников игра. Наперегонки, через весь коридор, сквозь плотную толпу прорваться. В пыли, в поту, чуть дыша, добежать до нее, до желанной, до большой белой двери. Первым повиснуть обеими руками на массивной круглой блестящей медной ручке.

Вот радость!

А сколько препятствий на пути к ней! Одному подставят ножку, другой застрянет в густой толпе, как рыбешка в мелкоячеистой сети, третьего остановит цепкая рука дежурного учителя...

Ну, а если добежал, ухватился и повис, оглашая коридор победным криком, думаете - всё? А сколько таких же бежит следом, боже ты мой! И тут начинается самое драматическое - борьба за медную ручку, за то, чтобы на ней повисеть. Ах, какая тут куча, какой ком катается около заветной двери, как он пыхтит, как гогочет, как ревет! И тогда все учителя, сколько их есть в длинном коридоре, бросаются в ту сторону, разгребая себе руками дорогу. Вот они добираются наконец и в четыре, в шесть, в восемь рук, пыхтя, негодуя, багровея от натуги, разбирают, растягивают, раздирают плотно сросшийся, сбившийся, сцепившийся ком.

А его, между прочим, и трогать не надо. Он сам разлетится в стороны, взорвется, как бомба, и осколков не соберешь - только дай срок. Как затрезвонит - сначала на первом этаже, а потом все выше, выше - неистовый школьный звонок, этот ком точно ветром сдует! А на полу, у двери в актовый зал, останется сиротливая чья-нибудь пуговица, вырванная с мясом, - вот вам и доказательство, что безобразие все-таки имело место. Подымайте теперь эту пуговицу и идите с нею по классам (первый "а", первый "б", первый "в", первый "г", первый "д"), идите искать того, чья она, пуговица...

Вы их сразу увидите - потных, жарких, лохматых, с шальными глазами, с потеками грязи на лице. Их отличает от всех остальных выражение безудержного счастья, упоения борьбой з а б о л ь ш у ю м е д н у ю р у ч к у в е ч н о з а п е р т о й д в е р и в а к т о в ы й з а л.

Сейчас их будут стыдить, ставить в угол, отправлять умываться, врасплох зададут вопросы, потребуют дневник, но наступит перемена - и они снова побегут к заветной двери и снова сплетутся в яростный ком.

Я это знаю, потому что я сам первоклассник. Я сам все это изведаль. Я знаю, как вкусна после перемены холодная вода из-под крана, с таким ржавым железным привкусом. Откроешь кран и - боком-боком под него, и глотать-глотать, не замечая, как стекает по подбородку, на рубашку, за шиворот... А потом - намочить стриженую голову. Сразу станет легче.

...Я первоклассник, и мне не дает покою дверь в актовый зал. Я никогда не видел ее открытой. Слова "актовый зал" звучат для меня: "А-а-а-актовый зал!" Певец делает рот колечком: "А-а-а-актовый зал!.." И круглые, блестящие букочки, как мыльные пузыри, дрожат в воздухе.

Нет, кое-что мы все-таки знаем про этот актовый зал. У Жоры Венчика брат - шестиклассник, и он там бывал. На вопросы: "Что? как?" - он отвечает: "Окна - во! Потолок - во!". Так что кое-что мы знаем, но этого "кое-что" так мало, что лучше совсем его забыть и придумать все самому, с начала до конца. Я и придумываю. Я придумываю так, что за большой белой дверью - если ее распахнуть - начнется дорога, такая длинная-длинная солнечная дорога, исполосованная тенями, вроде как на даче в Мельничном Ручье, дорога, где так сильно пахнет к вечеру расплавленной за день смолой... Только моя дорога длиннее, гораздо длиннее, и по ней можно бежать, бежать - без конца.

И вот наступает этот день. Как всегда в таких случаях - неожиданный. Он и должен начаться плохо, так плохо, чтобы казалось, будто ничего хорошего сегодня произойти уже не может. И тогда то, что все-таки произойдет, произойдет вопреки всему и будет втрое радостью, вчетверное чудом.

На второй перемене я три раза попадаю на глаза жилистой остроплечей физкультурнице в полосатой футболке - черная-белая-черная-белая... Физкультурница хватает меня за плечо цепкими пальцами. Мне больно. От нее головокружительно пахнет табаком и физкультурной раздевалкой. Я испуганно смотрю в ее глаза цвета дождевой тучи, обрамленные короткими черными прямыми волосами. Я вижу, как быстро-быстро движутся ее крепкие обветренные губы, как вздувается на шее голубая жилка. Наконец из коридорного гула вырывается:

- Бегать по рекреации!.. Категорически!.. Фамилия?..

Я кричу ей фамилию, а вокруг мелькают румяные рожи моих одноклассников. Они улыбаются, они заглядывают в глаза ей, мне и

носятся вокруг нас в каком-то безумном танце.

Физкультурница не слышит меня. И немудрено. Гул такой, что в пору разговаривать на пальцах. Тогда она наклоняется и показывает на свое ухо. Я поднимаюсь на цыпочки и не дыша произношу свою фамилию в розовое учительское ухо с малюсенькой дырочкой от серьги. И ужасная мысль: "Кушу!" - мелькает у меня в это мгновение.

- Запомнил? Рекреация! Бегать нельзя!

Длинным желтым пальцем она показывает пределы, в которых я могу двигаться. Я киваю. Она выпускает мое плечо, и словно пружина освобождается - я отлетаю прочь! И тотчас с размаху лечу на пол. Кто-то громко плачет рядом. Сбил с ног. Мне и самому больно, но прохладиться некогда, удрать бы скорей. Я барахтаюсь в чьих-то ногах, вскакиваю, пытаюсь бежать и снова - эх, не повезло! - снова чувствую на плече твердые, как железо, пальцы.

- Опять бегаешь по рекреации!.. - Она называет мою фамилию. - Девочку с ног сбил!.. - Она называет мою фамилию. - Видишь, девочка плачет?.. Идем к завучу!.. - И она еще раз называет мою фамилию.

Я не вижу никакой девочки. Я вообще ничего не вижу. Все как в тумане. Слезы брызжут из глаз. Ужас охватывает меня.

- Я больше не буду, не буду, не буду!.. - Кажется, это мой голос отвратительный, жалкий... А вокруг по-прежнему беснуются первоклассники. Они кривляются, передразнивают меня, физкультурницу. "Не буду! Не буду! Не буду!.."

Физкультурница неумолима. Она ведет меня сквозь туман, направляя властной рукой. Нет-нет, все что угодно, только не завуч!..

Звонок. Спасительный звонок, как порыв свежего ветра, уносит и туман, и жесткую руку с плеча, и меня самого уносит. Подхваченный сильным потоком, я лечу по коридору, врываюсь в класс, бахаюсь за парту. Все.

Нет, не все. Тихая, легкая наша Людмила Петровна, плывущая по классу, будто ладья, с пышной русой косой через плечо, самая красивая и самая молодая в школе, - насупившись, смотрит на меня. И по тому, как движутся ее густые брови, как морщится ее гладкий высокий лоб, я понимаю: на щеках моих - черные потеки, ворот рубахи распахнут, верхней пуговицы нет, дышу я, как паровоз, и к уроку у меня ничего не готово.

Людмила Петровна смотрит с жалостью и досадой.

- Иди умойся.

Я покорно иду из класса и думаю о том, что жизнь моя станет теперь невыносимой, потому что я вынужден скрываться от физкультурницы, а куда скроешься - завтра ее урок! Ах, что там, скрывайся не скрывайся, фамилию мою она знает, и теперь жди самого худого: на следующем уроке откроется дверь, войдет завуч, все встанут, и только один я буду знать, зачем он вошел...

У нашего завуча очень трудное имя-отчество. Такое трудное, что нам его говорили по складам, и писали на доске, и снова говорили, а мы все равно не запомнили. Не то Шухнарьян Шухнарьянович, не то Забельзан Забельзанович, не то Зангезур Зангезурович, не то Занзибар Занзибарович... Нет, Занзибар - это остров. А впрочем... Одно я помню твердо: имя и отчество звучат одинаково.

Ну вот, назовет он меня по фамилии, а я? Как я назову его, если понадобится? А ведь может понадобится. И я уже слышу: "Ты что, такой-то, не знаешь, как зовут завуча? Нет, такой-то, этого я не потерплю. Пускай придут твои родители и..." Вот тут фантазии моей не хватает. И... И... Что "и"? Что-нибудь худое, конечно.

Надо же, чтоб так не повезло! Чтоб из двух сотен первоклассников именно ты попался. Чтоб из всей этой толпы, где чувствуешь себя незаметным, а потому и неуязвимым, выудили именно тебя...

И по дороге в уборную, и под краном, из которого хлещет ледяная, пахнувшая хлоркой вода, я все пытаюсь вспомнить: Курагор Курагорович?.. Брамапут Брамапутович?.. Нет, не то. Помню только: странное, неслыханное, диковинное... Вода попадает мне за ворот, я вздрагиваю, гогочу, и голос мой гудит звонко и кафельно, и отчею-то становится легче. Даже веселей.

Встряхивая мокрой головой, шагаю обратно. Коридор - рекреация! лежит передо мной непривычно тихий и пустынный. Только далеко где-то барабан, что ли: тра-та-та-та... И еще: длинь-длинть-длинть... Непонятно. Длинть-длинть...

Я медленно взмахиваю крыльями и бесшумно лечу над коридором, отдыхающим от сотен ног, над истертым, истоптанным паркетом, лечу, вытягиваю клюв и гортанно кричу: "Ре-кре-ация!.. Ре-кре-ация!.." Разумеется, я кричу про себя, но с большей охотой я кричал бы вслух, тогда получился бы настоящий ворон. Я подлетаю к самой двери в актовый зал, дотрагиваюсь до нее клювом, цепляюсь когтями за медную ручку и повисаю на ней...

Длинть-длинть-длинть... Совсем рядом. Я упираюсь ногой в другую

створку двери и... плыву. Плавно, медленно. Это невероятно, невозможно, неправильно - как хотите, - но дверь движется, и я плыву на ней! Без скрипа, без стука она отворяется наполовину и замирает. Я отпускаю ручку и робко, с бьющимся сердцем, заглядываю в зал.

Первое ощущение - ослеплен! Жмурюсь сильно-сильно, так, что становится жарко глазам, а внутри глаз мелькают фиолетовые зайчики. Открываю глаза. Свет. Огромное белое пространство, полное яркого солнечного света. Такого густого, что кажется, его можно мять в руках, и лепить из него тугие желтые шары, и кидать их вверх - вот так! Вот так! Вот так!..

Длинь-длинь-длинь... Я вижу широкую сцену, а на ней - кружком сидят ребята в белых рубашках, в красных галстуках. Четверо... Нет, пятеро. А вот и шестой - спиной ко мне.

У одного труба в руках. Другой с барабаном. Третий держит мандолину. Четвертый - большие медные тарелки. Пятый - длинь-длинь-длинь - ударяет деревянными молоточками по металлическим пластинам. Это ксилофон, я знаю. А шестой... Шестой поднимает палочку.

Оркестр!..

Подхожу ближе, на цыпочках, но паркетина встрескивает под ногой. Дирижер резко, через плечо оборачивается, и я вижу девятиклассника Мишу Гуревича - мелкокудрого, белозубого, верхний ряд зубов у него кривой и теснится, один лезет вперед другого, словно их там больше выросло, чем положено, и места им не хватает. Миша смотрит на меня, приоткрыв рот в улыбке, и зубы его сверкают, а короткие курчавые волосы дымятся от солнца. Я улыбаюсь в ответ, хотя знаю: улыбка не ко мне, она появилась раньше, чем я вошел.

Пауза. Миша смотрит на меня. Я улыбаюсь невпопад. Музыканты тихо пробуют свои инструменты. Бом-бом-бом... Тра-та-тата. Длинь-длинь-длинь... Тэн-нь!..

Кончилась пауза. Миша отворачивается и взмахивает палочкой.

Никто не знает первоклассника, никто не хочет его знать, никого он не интересуется, зато первоклассник знает многих, а интересуется его - всё. Первоклассник знает Мишу Гуревича - председателя совета дружины, дирижера шумового оркестра, чемпиона школы по шахматам. Первоклассник, где бы ни встретил он Мишу, проводит его влюбленными глазами. Но что Мише Гуревичу до какого-то

голового, вечно шныряющего под ногами, хрипло орущего, сопливого первыша!..

Миша взмахивает палочкой. И в бряке, стуке, звяке, звоне я сразу угадываю: "Братишка наш Буденный, с нами весь народ..." Я знаю эту песню! "Приказ голов не вешать и глядеть вперед..." Трубач замечательно ведет мелодию, встряхивая белой челкой! "И с нами Ворошилов, первый красный офицер..." А мандолина, мандолина вторит напряженной дрожью... "Сумеем кровь пролить за СССР!.."

Песня свободно раскатывается по залу, уходит вверх, к белому лепному потолку, где сверкает огромная хрустальная люстра, а я всей грудью вдыхаю какой-то особенный, легкий, бегучий воздух актового зала. Высокие овальные окна нижнего ряда закрыты. Верхние окна, словно иллюминаторы, круглые. Один иллюминатор распахнут. И вот я своими глазами вижу, как в этот иллюминатор влетает птица и, сделав круг над залом, садится на люстру...

Разве такое забудешь?

Разве утерпишь, чтоб не рассказать кому-нибудь?

Я рассказываю про все про это Жоре Венчику.

А надо знать Жору Венчика. Надо видеть его высокие алые щеки, этакие пышные булочки, которые почти прикрывают карие Жорины глаза, ярко поблескивающие из-за красных горюшек, покрытых белым пушком.

Повторяю, надо знать Жору Венчика. Он все время бежит, кипит неистово. Он и за партой бежит. На бегу Жора успевает читать, и читает все подряд, и каждый день врывается в класс, вскакивает на парту и кидает нам, как подарок, новое удивительное слово. "Кэб! - кричит Жора. - Эшафот! кричит Жора. - Кузина!"

Я не слышал, чтоб у кого-нибудь эти незнакомые слова звучали так прекрасно, звонко, радостно, как у Жоры. Жора наслаждается словом - его рокотом, треском, шипом, свистом. Он не гусарит - вот, мол, что я знаю. "Корпия! - кричит Жора. - Дельта!.. Вассал!.." И красивые эти слова открывают классное утро. Жора настраивает утро, как настраивают рояль.

И вот мы с Жорой Венчиком - после уроков, когда коридор пуст и все уже в раздевалке, а мы благополучно отсиделись в классном шкафу, - мы с Жорой открываем дверь в актовый зал. Мы открываем ее вместе, вдвоем, мы разом тянем за медную ручку и вместе, тесно прижавшись друг к другу, входим...

Никого. Оркестр ушел, оставив на сцене сдвинутые в кружок

стулья. И кажется, будто они, степенно поскрипывая, обсуждают в безлюдной тиши всякие свои важные вопросы. Когда вернутся музыканты, какой замечательный дирижер Миша Гуревич и какая будет завтра погода...

Жора Венчик вспрыгивает на сцену. Я за ним. Жора надувает и без того круглые щеки. "Во!.." И делает руками широкий круг.

Жорино "во!" взлетает к потолку, поселяется ненадолго в блестящих висюльках люстры и падает легким звоном вниз, туда, где двумя сомкнутыми колоннами по залу шагают стулья, а между ними, в проходе, простерся широкий, словно улица, красный ковер.

"Во!" - швыряет Жора на всю длину зала, и это "о-о-о!" летит, точно обруч от серсо.

Жора сверкает глазками, делает стойку, возвращается на ноги, хлопает в ладоши - кр-рак! - будто ореховая скорлупа лопнула - и кричит во всю ширь великолепного зала: "Кэб!" Точно копье брошено в цепь. "Кэб!" Пауза. Наслаждение, которого не передашь словами. Зал возвращает нам тысячу копий! "Эшафот!" Ф-о-от... Будто тысяча кораблей разом покидает порт. "Кузина!" Кто-то мрачный гулко зовет Зину...

А если вместе? Вот так: "Гурман!.. Лафет!.. Маэстро!.. Эскулап!"

Особенно здорово, когда посылаешь одно слово вдогонку другому. Тогда они сталкиваются где-то в центре зала, раскалываются на части, а потом слепляются как попало, странно, диковинно, ни на что не похоже...

А дальше, в одно неуловимое мгновение, мы с Жорой кричим: "Алебарда!!!" В дальнем левом углу зала внезапно возникает маленькая дверца. Оттуда появляется человек. Жора Венчик исчезает. Непостижимым образом, как в мультфильме. Вжик - и нету!..

И вот я стою один на сцене, на самом ее краю, и уже не слышу, как возвращается ко мне "алебарда". Взгляд мой и слух мой прикованы к человеку, который ступил на красный ковер и чуть вразвалку, мягко, неторопливо приближается ко мне. И сначала я догадываюсь, а потом отчетливо вижу: з а в у ч! И хотя у меня еще достаточно времени, чтоб убежать, и, конечно, он меня не догонит, и тем более не может узнать меня, раз он меня не знает, - я не двигаюсь с места, потому что ноги мои приросли к полу. Все ближе и ближе подходит седой человек с горячими, навывкате глазами.

- Здравствуй, - говорит он мне. - Почему не отвечаешь? - говорит он мне. - Э, да у тебя язык отнялся, бедняга! Неужели я такой

страшный... Он вытягивает нижнюю губу, в раздумье покачивает головой, прикрывает глаза выпуклыми желтыми веками.

Я открываю рот, я хочу поздороваться, я очень хочу поздороваться, но со мной что-то случилось, - наверно, и правда язык отнялся, и, представив себе этот кошмар, я немею окончательно.

Завуч крепко проводит рукой по лицу сверху вниз, как делают взрослые, чтобы снять усталость, и я вижу, что рука у него тоже седеет.

- У тебя звонкий голос, - говорит завуч, - очень звонкий. Я слышал его во-он там. - Он показывает пальцем себе через плечо. - Куда же девался твой звонкий голос? Мне показалось или ты пел? Конечно, пел. Иначе зачем залезать на сцену. Скажи: ты пел? Ну, ясно, по лицу вижу - пел. Спой-ка мне что-нибудь...

Бедная моя голова совсем кругом пошла!

А завуч садится на стул в первом ряду, прямо напротив меня, устраивается поудобнее, кладет ногу на ногу и, покачивая большим черным ботинком, ждет.

Мы молчим. Долго молчим. Я - втянув голову в плечи. Он - устало полуприкрыв веки. Молчание накапливается, как гроза, и слезы уже вскипают где-то за ушами и вот-вот брызнут прямо в завуча. А где-то - но где? притаился Жора Венчик, ему хоть бы что. И над всеми над нами - холодный, как зимнее небо, равнодушный актовый зал.

Завуч качает головой.

- Ай-я-яй, ну как тебе не совестно. Завуч, почтенный человек, седеет голова, десять минут ждет твоей песни, а ты...

Я слизываю языком первую слезу. Если он видит по моему лицу, что я пел, так почему он не видит, как я сейчас мучаюсь! Ведь у меня язык отнялся!

- Ну ладно, - говорит завуч, - я понимаю, это бывает. - Он тяжело подымается. - Если ты захочешь поговорить со мной, приходи в кабинет. В любое время приходи. Ты только скажи: "Я тот мальчик, который пел один в актовом зале и которого ждет Исидор Исидорович". И тебя сразу пропустят. Только не забудь: Исидор Исидорович. А то многие забывают... Ну, а я уж тебя не забуду. Не каждый день встречаешь человека, который поет один в таком зале. Ты первоклассник? - Я кивнул. - Первоклассник... - Завуч вздыхает. - Ученики с годами как-то глупеют, а первоклассники - они умные люди...

Завуч уходит в ту же дверь, из которой появился. Уходит, ни разу не обернувшись, так и не сказав двух слов, которых я безропотно ждал: "Н е м е д л е н н о в о н!" Он думает, что я пел. Если б он знал, что я просто кричал!..

Откуда-то раздается голос Жоры Венчика: "Ушел, да?" Я оглядываюсь, смотрю под ноги. Рядом - какой-то деревянный козырек. Оттуда выглядывает Жорина голова. "Суфлер!" - вкусно произносит Жора, и блестящие его глазки вспыхивают еще ярче.

И вот я, взрослый человек, издалека гляжу на себя, первоклассника. Мне уже порядочно лет, и я кое-что понимаю теперь из того, чего раньше совсем не понимал. Я понимаю, что когда-то сделал большую, очень большую глупость, непоправимую ошибку - не пошел к Исидору Исидоровичу. Ни завтра, ни через день, никогда.

Я ведь думал как: "Хитрый, заманивает..." Кабинет завуча представлялся мне камерой пыток. Заманивает... "Приходи, поговорим..." Э, меня не обманешь! Нашли дурака! Чтоб сам, своей волей к нему в кабинет? Да где это слыхано!..

К сожалению, я так был устроен в то время, что не мог поверить завучу. Я не верил в серьезность его приглашения. Я не верил, что взрослый может всерьез говорить с мальчишкой. Что он всерьез хочет с ним говорить.

Сколько раз потом, сталкиваясь с разными людьми, я незаметно вглядывался в них, пытаюсь разгадать одну и ту же тайну: шутит или всерьез? Боялся пропустить, упустить того, кто всерьез. Люди не так уж часто относятся друг к другу всерьез. Чаще - в шутку, как это ни странно.

Все это я понял не сразу, и, наверно, не понял бы так резко, не случись еще одна встреча с актовым залом - последняя.

...Шла война. И перешагнула уже через первую свою, самую страшную зиму. Мы с мамой остались вдвоем. Мама работала, а в свободное время с концертной бригадой медработников выступала в госпиталях города - пела. Она и меня брала с собой, потому что после концерта артистов всегда кормили. А чтобы никто не сказал и даже думать не посмел, что я даром съедаю свой обед, моя щепетильная мама заставила меня выучить несколько песен, упростила нашего аккомпаниатора, слепого баяниста дядю Васю, прорепетировать со мной и добилась, что меня включили в бригаду.

Я понимаю, что маленький худенький мальчик, поющий "Буря

мглою небо кроет...", или "Ты жива еще, моя старушка...", или "Гремя огнем, сверкая блеском стали...", - что этот мальчик привлекал раненых бойцов не пением, а просто всем своим несчастным блокадным обличьем. Глядели на него и вспоминали своих...

В один из пронзительно-ветренных весенних дней мы пришли в большой госпиталь, размещенный в моей старой школе. Я открыл школьную дверь, которую не открывал уже год, и очутился в вестибюле, которого год уже не видел. По кафельному полу стучали подковками сапоги. Инвалиды тяжело проносили между костылями свое короткое теперь тело...

Нас провели через канцелярию и попросили обождать в кабинете главного врача. Нас - это маму, меня, дядю Васю, пианистку Валецкую и чтицу Клавдию Костомарову, похожую на мужчину в своем пиджаке с ватными плечами.

На двери кабинета бумажка: "Главный врач", а выше - синяя стеклянная табличка на двух блестящих винтах: "Завуч".

Мы вошли. В кабинете никого. Длинный стол на фигурных ножках. Черный диван с высокой прямой спинкой и полочкой наверху. Портрет Ленина между окон. Бронзовая фигурка дискобола под стеклянным колпаком. Грамоты. Политическая карта Европы.

Я подошел к столу. Под толстым стеклом - расписание уроков на 1940/41 учебный год. Я нашел свой класс, вспомнил, что сегодня вторник. Что же у нас было тогда во вторник? Чтение, письмо, арифметика, физкультура... А на самом уголке стола - так, что краешек бумаги торчит из-под стекла и можно потянуть и вытащить, - записка. Четким, острым, крупным почерком: "Варвара Николаевна! Если задержусь в военкомате, начинайте педсовет без меня. И. Шахметдинов". Исидор Исидорович Шахметдинов - вот как его звали...

И еще, последнее. Список выпускников-добровольцев. Алиев Рустам, Воробейчев Иван, Гаврилов Сергей, Гуревич Михаил и много-много еще фамилий. Школа у нас большая, самая большая в районе. Выпускников было много. Листок согнут, и там, на обороте, тоже, наверно, фамилии.

Открылась дверь. На пороге - молодой, бритоголовый. Белый халат поверх гимнастерки. Подошел к столу, взял меня за плечи.

- Интересуешься?

Моя мама:

- Он в этой школе учился, товарищ главврач...

Главный врач кивнул и обвел рукой кабинет.

- Вот, - сказал он, - мы решили, пускай все останется, как было. Кончится война, придет старый хозяин - ему будет приятно, что все по-прежнему. Верно?..

Женщины закивали и с подчеркнутой серьезностью стали разглядывать кабинет, словно это был какой-нибудь музей. Однако все молчали, и в затянувшемся этом молчании я почувствовал общую тревогу, неуверенность и страх за тех, кто неизвестно, вернется ли в старые свои стены.

Бритоголовый решительно разрядил молчание:

- Ну, пошли.

...Мы с мамой поднялись на сцену. Дядя Вася уже сидел там, трогая лады. Актный зал! Такой, как прежде, только окна крест-накрест заклеены бумагой, а между ними, по стенам - военные плакаты.

- Сколько их! - тихо сказала мама, глядя в зал, на раненых. Свободных стульев не было. Некоторые сидели на полу. Другие лежали в проходе на парусиновых раскладушках, повернув к нам свои большие белые лица.

Мама запела "Дивлюсь я на небо". Она любила эту песню и часто пела ее. А тут получилось вот что.

Посреди песни один раненый в первом ряду с перевязанной, будто в чалме, головой согнулся весь, застонал, закашлял, потом откинул голову и стал сползать со стула.

Мама замолчала. Оборвав песню на полужвуке, она стояла такая растерянная, что я даже не мог смотреть на нее. В зале возникло движение, раненого в чалме бережно взяли под руки и повели, а потом подхватили и вынесли из зала. В рядах захлопали, чтобы ободрить маму, но с ней что-то случилось - она заплакала. Раненые кивали ей ласково - пой, мол, ничего... А она не могла справиться с собой и закрыла лицо руками. Дядя Вася тревожно повернул к ней свою большую стриженую голову и смотрел, да, смотрел на маму своими невидящими глазами, пытаюсь понять, что произошло. А пальцы его бесшумно бегали по клавишам.

Раздался резкий хлопок. Под напором сильного ветра распахнулось окно-иллюминатор, и ветер - резкий, влажный - ударил по залу. Люстра качнулась, где-то хлопнула форточка, все зашевелились, заговорили... А я сразу вспомнил ту маленькую птицу, как она влетела тогда в зал через окошко-иллюминатор и, описав

круг, уселась на хрустальную люстру. И сразу зашевелился во мне весь тот удивительный день, когда впервые отворилась вечно запертая дверь в актовый зал...

Мама всхлипнула рядом. Дядя Вася тронул меня за рукав:

- Давай выручай мать. Чего споешь?

- "Братишка наш Буденный", - сказал я. Дядя Вася кивнул.

Не оглядываясь на маму, глазами - в потолок, весь во власти непонятого возбуждения, я запел:

- "Братишка наш Буденный, с нами весь народ, приказ голов не вешать и глядеть вперед..."

После каждого куплета я шумно набирал воздух, я захлебывался песней и не слышал того, что пел. И только когда песня зазвучала неожиданно громко, я понял, что ее подхватили. И справа, и слева, и у самой сцены.

- "Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, пожар кругом..."

Через два месяца в актовый зал попала бомба. Случилось это ночью. Бомба пробила крышу, чердачные перекрытия и взорвалась в центре зала.

Я узнал об этом днем и скорей пошел посмотреть, что со школой. Я прошел по улице, стрелой бегущей к Адмиралтейству, свернул за угол раньше здесь был овощной магазин, а теперь узкие глаза бойниц вглядывались в перекресток - и остановился напротив школы.

Стены были крепкие. Они уцелели. Взрывная волна рванулась в окна, и теперь на их месте зияли черные провалы. Ветер порывами гнал оттуда мелкую пыль, щекочущую ноздри. Мостовая сверкала осколками стекла. Из госпиталя вышли бойцы с метлами, совками. Хрустя стеклами, стали подметать тротуар. К ним бросилась женщина:

- Жертвы есть?

- Нема, - ответил один из бойцов.

Больше я не был в этом доме, в этом зале - никогда. Я слышал: зал восстановили и люстру повесили новую, не хуже прежней. А на сцене, говорят, занавес бархатный. А еще говорят, по стенам, между окон мраморные доски висят, и на них фамилии - кто не вернулся с войны...

Иногда проснусь ночью и ни с того ни с сего представляю себе актовый зал. Нет, не таким, как теперь. И не таким, как во время войны. Я представляю его таким, как придумал когда-то, давным-давно, в первом классе, еще не видевши ни разу. И такой,

придуманной, он кажется мне настоящее настоящего.

...Вот мы толпимся у заветной двери, у ярко-белой двери с круглой медной ручкой, начищенной до блеска мелом. Нас много - громадная толпа первоклассников, полный коридор. И вот она торжественно распаивается, большая белая дверь, и за ней открывается солнечная дорога, и мы бежим по ней, весело крича, обгоняя друг друга, размахивая руками, смеясь, распевая песни, бежим все дальше и дальше - без конца. И вот уже не слышно нас и не видно, и никого не осталось около белой двери, только на полу бумажки смятые, оторванные пуговицы, фантики, шелуха от семечек... А потом и мусор этот, подхваченный ветром, с шорохом уносится по солнечной дороге, и вслед за тем тихо затворяется большая белая дверь. И - ничего больше.

А П О Т О М Н А Ч А Л А С Ь В О Й Н А

Повесть

"Один лишь Дух, коснувшись глины,
творит из нее Человека".

Антуан де Сент-Экзюпери

"П л а н е т а л ю д е й"

МАТРОС, ДЕВОЧКА И КАВАЛЕР

Это было давно, в другом веке. Иначе не скажешь про детство.

Они появились из разных мест, но пришли друг другу по вкусу и вскоре подружились.

Матрос. Он пришел из старинного бабушкиного альбома с позеленевшими пряжками, с толстой, роскошно-матовой фотографии.

Я подолгу разглядывал эту фотографию. Любил ставить ее перед собой. Славное чувство поднималось во мне, когда я на нее смотрел.

Молодой человек с фотографии, лицо которого я мог представить себе в любой час дня и ночи, был для меня все равно что живой.

Матросская бескозырка чуть набекрень. Полотняная рубаха, свободно распахнутая на широкой груди. Под рубахой - треугольник тельняшки. В крепких зубах - трубка с длинным чубуком.

С трудом, но все-таки можно было разглядеть на указательном пальце Матроса толстый витой перстень.

Смотрел Матрос прямо перед собой, без улыбки, лицо его было лишено явного, внешнего, секундного чувства. Сказать, что он смотрел серьезно, ничего не сказать. Он смотрел так, словно видел впереди какую-то опасность, может быть даже смертельную, но уже

оценил ее, составил план действий, был абсолютно уверен в счастливом исходе и настолько спокоен, что не выпускал трубки изо рта. Его взгляд был холодноват и чуть презрителен.

Я гордился им так, словно он был самым близким моим другом. Я любил все, что ему принадлежало, - и трубку его, и бескозырку, и непонятно откуда взявшийся перстень на крупной рабочей руке...

Кто был он мне на самом деле? Дедушка? Дядя? Брат?..

К тому времени когда у меня появились эти вопросы, на них уже некому было отвечать: бабушка умерла, а остальные лишь пожимали плечами. Они не знали, кто такой этот Матрос.

"Тем лучше, - думал я. - Он Матрос, и этим все сказано".

Порой мне казалось: если сейчас я подойду к окну и осторожно отодвину край занавески, то в глубине улицы, среди прохожих, я обязательно увижу своего Матроса.

И я уже слышал, как он идет, спокойно ступая в своих крепких кованых сапогах, навстречу вечной опасности идет, зная, как расправиться с нею. Я был уверен, что без труда отличу в толпе его независимую фигуру, его свободную твердую походку, услышу негромкое кипение огня в его трубке.

Я отодвигал занавеску. Чтоб не сразу расстраиваться, я хитрил, обманывал себя, говоря: "Он задержался, он еще не вернулся из плавания..." И я начинал воображать: где он, как он, когда он, куда он...

Точно так же любил я искать в толпе прохожих своего Кавалера, а так как людей, мало-мальски похожих на него, на улице совсем не попадалось, я придумывал так, будто Кавалер переоделся, загримировался, а то и маску надел... И тогда начиналось бесконечное глядение вдоль улицы, угадывание, разочарование, снова угадывание. И настоящие мурашки: "Он!.." И падение в пустоту: "Опять не он..."

Кавалер появился из старинной книги в тисненной золотом корочке, где почти на каждой странице, окруженные изысканными готическими текстами, томно кланялись друг другу дамы в таких широких и длинных платьях, что за их складками мог бы спрятаться целый город. Дамы заученно, но очень мило улыбались друг другу и делали рукой уточку. Их аккуратные змеиные головки клонились то вправо, то влево. А платья, накидки, воротники, кружева - все это было нарисовано так тщательно, тонко, подробно. И так воздушно раскрашено акварелью!

Картинка с Кавалером остановила меня потому, что Кавалер в этой книге был почему-то один. Его нарисовали рядом с очень красивой дамой, и он сдержанно раскланивался с нею, чуть-чуть сгибаемая тонкий стан. В руке его была флейта. Камзол цвета золотистого персика, светло-желтые панталоны, белые чулки, кремовые туфли с блестящими медными пряжками, а под камзолом на груди - нечто невесомое, точно взбитые сливки. Парик Кавалера сбегал на его плечи двумя пышными волнами.

Подолгу вглядывался я в лицо Кавалера и каждый раз поражался тому, какое оно непривычное. В жизни я таких лиц не видывал. Оно было нежное, словно фарфоровое, но яркие голубые глаза смотрели как-то отчаянно, непримиримо. Губы и нос, очертания лба и щек казались совершенно несвойственными мужскому лицу. Но я чувствовал: за этой хрупкостью прячется безрассудная храбрость, не привыкшая рассуждать, взвешивать, отмерять.

И еще гордость, граничащая с надменностью.

Вместе с тем мне казалось, что у него доброе и верное сердце и он не задумываясь, ринется в бой, не побоится ради друга испачкать свой камзол.

А как доверчивы эти голубые глаза! Право же, его ничего не стоит обмануть. Каждый так и норовит обвести его вокруг пальца. Он доверчив, как ребенок.

Толстая книга, заполненная дамами в кринолинах, мешала мне разглядывать Кавалера и размышлять о нем. И однажды, когда никого не было дома, я взял ножницы и с плавающим в сладком ужасе сердцем принялся вырезать Кавалера из его книги. Руки у меня дрожали, я спешил и в то же время сдерживал себя, потому что боялся испортить картинку. Когда я кончил вырезать, под носом и на лбу у меня выступил пот.

Для того чтобы Кавалер не потерял вида, я наклеил его на толстый картон и вырезал картон по силуэту. Мой Кавалер чувствовал себя теперь превосходно. Отчужденный от своей дамы и от всей этой чопорной книги, он, казалось, впервые свободно вздохнул, жаждал приключений и готов был ввязаться в любую историю, если бы кому-нибудь пришло в голову грозить его чести и достоинству. Рядом с Кавалером мой Матрос - само спокойствие, расчет, трезвость.

Как они дополняли друг друга!

Когда один горячился, комкая в руке перчатку, другой с мудрой

прозорливостью смотрел вперед, попыхивая трубкой.

Поистине Кавалер и Матрос были созданы друг для друга.

И все-таки здесь кого-то не хватало, недоставало для полной компании.

Однажды, размышляя совсем о другом, я наткнулся на коробку из-под конфет. На коробке была нарисована девочка, обыкновенная девочка - в бантах, веснушках, пестром платье и с бубенчиками на башмаках. Эти бубенчики так меня поразили, что я сразу вспомнил Матроса и Кавалера. То-то они удивятся! И тут же спросил себя: "А что, если ее - в компанию?.."

По правде говоря, лицо у девочки было довольно заурядное, на нем застыла этакая полуоубиженная гримаса. Как будто она хотела улыбнуться, но вспомнила, что ей не дали конфет, и вот - вместо улыбки появилась на свет эта гримаса. Если разобраться, то и в самом деле обидно: приклеили навсегда к этой коробке, а конфет не дали.

Я вырезал девочку с конфетной коробки и познакомил ее с Матросом и Кавалером.

Что и говорить, по характеру своему она им уступала. Была взбалмошна, капризна, меняла свои мнения без серьезной на то причины, вздорно спорила по мелочам. Когда предлагали есть - просила пить. Когда давали молоко требовала чай. Когда наступал час сна - хотела гулять. Когда все вставали - продолжала нежиться в постели. Но главное, была страшной сластеной.

Одна мысль владела ею постоянно: где бы и чем бы насладиться. Стоило ей, к примеру, узнать, что где-то появилось вдруг сладкое, и, не дай бог, такое, какого она еще не пробовала, - ее нипочем нельзя было удержать. Она срывалась с места и бежала сама не своя - и ни страха в ней, ни осторожности, просто беда.

Пустая девчонка? Пожалуй, так. Но Матрос и Кавалер на редкость быстро привыкли к ней и взвалили на себя всю ответственность за неё.

Я думаю, это получилось так: очень уж непосредственна, беззащитна была ее страсть и совсем уж безудержна. Упрекать человека в такой страсти бесполезно. Его надо только беречь от расстройства желудка и по возможности удерживать от чересчур безрассудных поступков.

Это - изо всех сил своих - и старались делать Матрос и Кавалер.

Однажды Матрос сказал Девочке:

- Мне тебя жалко.

- Почему? - спросила Девочка.

- Потому что когда-нибудь тебе станет жалко меня и ты от этого будешь страдать.

- От чего "от этого"? - удивилась Девочка.

- От того, что сейчас огорчаешь меня и Кавалера. Понимаешь, мы-то перетерпим, а вот ты потом будешь страдать. Вспомнишь, как огорчала нас, и будешь страдать. Вот мне тебя и жалко.

- Да? - рассеянно спросила Девочка и, наморщив лоб, попыталась понять, как, почему и зачем все это когда-нибудь произойдет. Потом она устала от мыслей и кинула в рот леденец.

Как известно, ответственность распределяется между людьми неравномерно. Одни взваливают на себя все чужое, что требует догляда и заботы. Другим - только бы с собой совладать.

Кавалер тоже чувствовал ответственность за Девочку. Но поскольку сам он был горяч и вспыльчив, вспыхивал от нечаянной искры и ввязывался в любую историю под флагом "чести и достоинства", за ним самим нужен был глаз да глаз.

Матросу доставалось больше всех. На нем лежала двойная забота. А ведь он то и дело уходил в плавание. По несколько месяцев подряд его не бывало дома. А письма приходили так редко!..

ЗАНАВЕС РАЗДВИГАЕТСЯ

Зимой за двойными рамами первого этажа я разыгрывал драматическую историю поисков пропавшей Девочки, а по ту сторону окна, во дворе, притопывали валенками зрители, жались к стеклу, пытаясь что-нибудь понять. Услышать-то они ничего не могли и, видя движения моих губ, сердились, стучали в стекло и требовали, чтоб я кричал, а еще лучше открыл форточку. Я открывал - мама захлопывала. Я снова открывал - мама грозила, что отберет мой театр, потому что это верная простуда - форточка то есть...

Чтобы хоть как-то успокоить зрителей, я вынужден был идти на самые примитивные трюки, которые понятны без слов. Ну, скажем Кавалер падает с лошади - смешно. Матрос и Кавалер дерутся - опять смешно.

Но все это были уступки чему-то значительному, что говорило мне: "Ты поступаешь плохо. Кавалер не должен падать с лошади. Матрос и Кавалер не могут драться - они друзья". На душе у меня после всех этих штук было отвратительно, как будто я предавал друзей.

А потом наступила весна, окно отворили, и белые занавески тихо

заколыхались от ветра, образуя раздвижной занавес.

Я сидел под окном на маленькой скамеечке и, подымая над подоконником картонные фигурки так, чтоб не видно было моих рук, говорил за всех по очереди, старательно меняя голос. В паузах, придумывая очередную реплику, я слышал, как громко дышат за окном дети, терпеливо ожидая самого интересного.

Очень скоро я понял, чего больше всего ждут - нет, просто жаждут! мои зрители. Они жаждут страшного, ужасного, таинственного. Воображение их так раскалено, что особой выдумки и не требуется.

Когда я медленно-медленно приподымал над подоконником руку, прикрытую черной тряпкой, и при этом испуганным голосом Девочки приговаривал: "Что это? Что это?..", я видел, как все подавались вперед, как вытягивали шеи, часто дыша, а некоторые даже вздрагивали. Голос мой звенел и прерывался: "Что это? Что это?.."

Еще была старая вывороченная рукавица - рыжая, патлатая, пахнувшая овчиной и нафталином. То, что она изображала, не имело названия. Оно двигалось, распахивало пасть, со страшным скрежетом что-то жевало (скрежет камня о дробленое стекло), ползало...

Какая разница, как Его называть! Можно - Рыжим, можно - Красным, Черным или Мохнатым на худой конец. Дело не в названии. Дело в том, что Оно вызывало ужас. Я понял тогда: ужас - это от непонятного, от бесформенного, таящегося, вкрадчивого. И постепенно, незаметно для себя стал звать Его - Ужас.

Летом я выходил во двор с фанерной коробкой на ремне. Там, в коробке, было все: и Матрос, и Кавалер, и Девочка, и Ужас в разных видах, и кондитерская лавка, и медный, позеленевший подсвечник, изображавший Кондитера. И Графин, и Кувшин, и корабль, и колокольчики, и гребенка с папиросной бумагой, чтобы Кавалер мог играть на своей флейте.

Мой верный приятель Сережа выносил из дому табурет - пространство, на котором все происходило. Я заметил: прятаться не было нужды. Никто не обращал внимания на мои руки, никого не интересовала механика этого дела, все хотели знать одно: что дальше? И - чтобы пострашней. И - чтобы подольше не кончалось.

Сейчас, через сорок лет после детства, я думаю о том, что никогда не пришло бы мне в голову в те далекие времена. Ну, хорошо, думаю я, а кто же все-таки готовил им обед, гладил и стирал

белье, подметал комнаты? Кто ходил в булочную, мыл посуду, штопал чулки, пришивал пуговицы?..

Девочка?

Даже стань она совершенно взрослой - характер ее едва ли изменится. Все так же будет она бегать за сладким и терять голову, узнавая, что где-то рядом объявилось такое сладкое, какого она еще не пробовала. Девочка - гладить? Мыть посуду? Никогда!

Может быть, Кавалер?

Милый гордец, в силу странностей любви он прощает Девочке то, чего не простил бы никому на свете. И разве он не вымыл бы для нее посуду? Жаль только, посуда выскальзывает у него из рук и непременно бьется. А когда однажды он вздумал пришить пуговицы к ее пальто, пришлось пустить в ход ножницы, потому что он пришил полы к рукавам.

Кавалер и посуда? Нет, это невозможно.

Остается Матрос.

Да, больше некому. Его я представляю в любой роли, и всюду он хорош.

Посмотрели бы вы, как ловко чистит он картошку! Кожура, не отрываясь, бежит следом за его ножом и наконец падает наземь лопнувшей пружинкой. А в руке остается гладкая скользкая картофелина.

А поглядели бы вы, как он жарит мясо, поворачивая его на длинных вертелах и время от времени посыпая чем-то пахучим, щекочущим ноздри. При этом он шепчет мясу ласковые таинственные слова. Я убежден: он уговаривает мясо быть как можно вкусней и ароматней и слова его не пропадают даром.

А ночью... Глубокой ночью, когда Девочка и Кавалер давно уже спят и видят десятые сны, Матрос, осторожно ступая, выносит из дому тяжелое, только что выстиранное, туго отжатое белье. Белье лежит на его плече, как громадная белая рыбина.

Вот он развешивает белье на веревках, и при свете луны видно, как тихо покачивается от вкрадчивого ночного ветра сморщенное после стирки платье Девочки, расшитый серебряными нитями камзол Кавалера и его изысканные панталоны, похожие на перевернутую букву "Л".

Матрос садится на ступеньку и, привалившись к стене, закуривает трубочку. Он курит и дремлет. И думает о том, что завтра ему в плавание, а надо еще выгладить белье и закончить множество

других неотложных дел.

Как-то раз, не успев я начать представление, - пропал Кавалер. Я обшарил фанерную коробку, порылся в карманах и растерянно поглядел вокруг себя. Куда же он девался? Точно помню: я брал его с собой, клал в коробку...

Я обвел глазами ребят - они стояли вокруг и смотрели выжидающе. Мой приятель Сережа спросил:

- Что такое?

- Кавалер... - Я растерянно развел руками.

Сережа резко повернулся к ребятам и стал близко-близко всматриваться в лица. Так, знаете, медленно, постепенно, страшно... Глаза не мигают. Брови сдвинуты. Губы сжаты. Ноздри круглые.

Когда Сережа приближал лицо вплотную, так что слышно было его дыхание, каждый отодвигался и тихо говорил: "Я не брал. Честно. Не брал".

- Ты взяла! - сказал вдруг Сережа и указал пальцем на Верку, крепкую и круглощековую. - Ты взяла! - повторил Сережа. - Давай сюда! Быстро!

Слезы хлынули по Веркиному лицу. Ее лиловые щеки сразу покрылись темными разводами - Верка быстро размазывала по щекам грязь и что-то плаксиво бормотала.

- Отдавай сейчас же, не то худо будет, - угрожающе сказал Сережа и взял Верку за плечо. Она заревела во весь голос.

- Отпусти, - сказал я, - чего ты к ней привязался.

Сережа только плечом повел: не мешай, мол...

- Кому говорю - отдавай Кавалера!..

Верка вдруг перестала реветь, судорожно схватила воздух широко открытым ртом, чуть отвернувшись и, приподняв край платица, оттянула резинку своих розовых, на вырост шаровар...

Бедный Кавалер!..

- Прогнать или оставить? - спросил Сережа.

- Оставить, - снисходительно сказал я.

Лиловощекая Верка, целыми днями мотавшаяся по двору, уписывая сало с хлебом и хрустя солеными огурцами, эта глуповатая, как мне всегда казалось, круглоглазая девчонка, что-то вдруг разбудила во мне, какое-то удивление, что ли, от всего, что я делал тут... Я как бы впервые увидел со стороны себя и свой театр и все остальное увидел. И я подумал про ребят: вот я сочиняю, обманываю их, а им нравится этот обман, и они верят в него, потому что сам я в

него верю и самому мне он нравится.

ИГРЫ НА ГОРОДСКОМ ДВОРЕ

Рано утром Девочка просыпается и, увидев за окном солнце, сравнивает его с апельсином. Апельсин сладкий. Ей хочется сладкого. Осторожно ступая босиком, зажав в руке башмаки с колокольчиками, чтобы не разбудить Кавалера, она обшаривает буфет, кухонные полки и прочее, где могло бы завалиться что-нибудь сладкое. Увы, сладкого нигде нет.

Тогда Девочка тихонько отворяет дверь и бежит в кондитерскую лавку, просить у Кондитера конфет.

Кондитер - старый подсвечник, облитый свечными потеками, словно ромовая баба сахаром, - прежде чем продать вам что-нибудь, вконец измучает вас длинными поучениями и наставлениями.

Д е в о ч к а. Здравствуйте...

К о н д и т е р. Здравствуй, здравствуй... Ты почему не в школе?

Д е в о ч к а. Я во вторую смену. Я зашла попросить у вас чего-нибудь сладкого.

К о н д и т е р. По решению съезда зубных врачей сладкое отпускается детям в количестве не более ста граммов в сутки. Читай объявление. Читать умеешь?

Д е в о ч к а. Умею.

К о н д и т е р. Видно, не умеешь. Умела бы - не просила бы.

Д е в о ч к а. Дайте мне, пожалуйста, одну конфету.

К о н д и т е р. Ты сначала читать научись.

Д е в о ч к а. Мне одну только...

К о н д и т е р. А деньги у тебя есть?

Д е в о ч к а. Дайте мне в долг, пожалуйста, я принесу.

К о н д и т е р. В долг! Видали, какова?.. Э-э, чего это там у тебя звенит-бренчит?..

Кондитер прислушивается. Девочка переступает с ноги на ногу. Звенят колокольчики на ее башмаках. (Сережа потряхивает игрушечной сбруей, припасенной на этот случай.)

Д е в о ч к а. Ну пожалуйста...

К о н д и т е р. Если каждому да за пожалуйста, так я скоро голым ходить буду... Кто там звенит-бренчит?

Кондитер оглядывается.

Д е в о ч к а. Ну пожалуйста...

К о н д и т е р. Ступай прочь, ты мне надоела!.. Стой! Откуда у тебя эти башмаки?

Д е в о ч к а. Не знаю. Я всегда в них.

К о н д и т е р. А зачем бубенчики?

Д е в о ч к а. Наверно, мода такая. И потом, если я потеряюсь, меня сразу найдет Кавалер.

К о н д и т е р. Кавалер? Какой еще кавалер? Какие могут быть кавалеры у такой сопливой девчонки?!

Д е в о ч к а. Дайте мне, пожалуйста, конфету, и я уйду. Я вам обязательно принесу деньги.

К о н д и т е р. Деньги, деньги... Кавалеры, деньги. Деньги, кавалеры... Марш отсюда!.. Впрочем, стой. Пожалуй, я дам тебе конфет. В виде исключения, разумеется.

Шум за сценой. Шепот. Вдохновенный бред. Веркины лиловые щеки. Ее фланелевое платье, пахнущее солеными огурцами. Ее круглые глаза, не отрывающиеся от старого подсвечника и картонной девочки, которых я держу в руках...

К о н д и т е р. Я дам тебе конфет. Но в залог - эти бубенчики.

Д е в о ч к а. А как же Кавалер?

К о н д и т е р. Опять кавалер?!

Д е в о ч к а. Я больше не буду. Возьмите.

Девочка снимает башмаки.

К о н д и т е р. Ну вот и прекрасно. Иди сюда...

Д е в о ч к а. Ой! Конфет-то сколько!..

К о н д и т е р. Это мой кондитерский склад. Ешь сколько влезет.

Д е в о ч к а. Правда? Спасибо вам!

К о н д и т е р. Но за это ты должна заворачивать конфеты в фантики. Целый день, с утра до вечера.

Д е в о ч к а. Подумаешь! Это же так интересно!..

К о н д и т е р. Посмотрим, посмотрим...

Кондитер захлопывает за нею дверь и поворачивает ключ в замке.

К о н д и т е р. Попалась птичка. Теперь на крюк для порядка...

Сережа за моей спиной громыкает железяками. Он тоже импровизирует. У него для этого целый набор: бутылки, банки, молоток, куски жести, перегоревшие лампочки, чтобы их кокать...

К о н д и т е р. Попалась дурочка. Мне давно нужна оберточница конфет. И бубенчики пригодятся. Устрою сигнализацию от воров.

Пот градом льет с меня. В горле жжет. Одним голосом я произношу монолог Кондитера. Другим - говорю за Девочку. Третьим - сообщаю многочисленные ремарки. Четвертым...

Вот он, четвертый голос: высокий, сверхблагородный, с оттяжкой

в нос на конце каждой фразы...

К а в а л е р. Я должен найти ее во что бы то ни стало!

Кавалер видит кондитерскую лавку. На окне лавки стоят Кувшин и Графин.

К а в а л е р. Умоляю, помогите мне! Вы не видели Девочку? У нее башмаки с бубенчиками...

К у в ш и н. Девочку, стало быть, ищете? Э-хе-хе... А я вот женку ищу и никак найти не могу. Всю жизнь тут стою, у всех спрашиваю - никто не знает.

Г р а ф и н. Увы, я тоже...

К а в а л е р. Простите, как зовут ваших дам? Если я встречу их или услышу что-нибудь...

К у в ш и н. Я Кувшин. Она, стало быть, Кувшиня.

Г р а ф и н. Моя супруга - Графиня, милостивый государь.

К а в а л е р. Весьма польщен знакомством. Рад буду помочь. Так скажите, не проходила ли тут Девочка, башмаки у нее...

Г р а ф и н. Нет-нет, не видел. Ничего не видел, никак, никогда, нигде, ниоткуда, нипочем не видел. Посмотрите, как я прозрачен. Разве я могу что-нибудь скрывать? Да вот и наш хозяин. Спросите-ка лучше у него.

Из кондитерской выходит Кондитер и плотно запирает за собой дверь.

К а в а л е р. Добрый человек, здравствуй!

- ОН НЕ ДОБРЫЙ, НЕ ДОБРЫЙ! ОН ГАД!..

Это крикнула Верка. Сережа показывает ей кулак.

К а в а л е р. Скажи, добрый человек... Ты Девочку не видел? Башмаки у нее с бубенчиками. Ушла из дому, я спал, очень беспокоюсь.

К о н д и т е р. Нет, ваше превосходительство, не видел.

- ВРЕТ! ВРЕТ! - Веркин горячий шепот.

К а в а л е р. Называй меня просто - товарищ Кавалер.

К о н д и т е р. Нет, господин товарищ Кавалер, не видел я никакой Девочки.

- В ЧУЛАНЕ ОНА! В ЧУЛАНЕ!

- Верка, заткнись!..

К а в а л е р. Она так любит сладкое. Эта пагубная страсть может завести ее непоправимо далеко...

К о н д и т е р. Прощайте, господин товарищ Кавалер, поищите в другом месте.

К а в а л е р. Прощай...

Кавалер уходит по дороге, Кондитер - к себе в лавку.

Г р а ф и н. Какой милый Кавалер! Сама учтивость. А осанка! Сразу видно, фигура! Подмигнуть бы ему: дескать, здесь Девочка-то...

К у в ш и н. Хозяин тебе подмигнет. Осколков не соберешь.

Г р а ф и н. Как бы я хотел стоять на столе у такого вот изысканного господина!

К у в ш и н. Прикрути пробку!

Г р а ф и н. Кувшинное рыло - оно кувшинное и есть. Булькать кислым квасом - единственное, на что ты способен. Вот найду мою Графиню, и мы тотчас уедем отсюда. Надоело это отвратительное окно, засиженное мухами.

К у в ш и н. Валяй, уезжай. Твое место для моей женки сгодится. А про эти разговорчики я хозяину-то доложу...

Г р а ф и н. Бессовестный негодяй!

К у в ш и н. Э-э, совесть для благородных!

Г р а ф и н. Мерзкий холуй! Во-первых, ты ничего не докажешь без свидетелей, а во-вторых, я дороже тебя. Я из чистого стекла! Меня хозяин ценит! А глиняные болваны вроде тебя на каждом углу валяются.

На пороге появляется Кондитер.

К о н д и т е р. Что за спор? Разорались тут, бездельники. Ну, какие новости? Куда пошел этот общипанный Кавалер?

К у в ш и н. Налево, хозяин.

Г р а ф и н. Налево, именно налево! Вне всякого сомнения, налево, хозяин!

К о н д и т е р. Отлично. Направлю-ка я туда Мохнатое...

Страшно. Уже страшно. Одно только слово произнес - и страшно. Мохнатое... Что это? Кто? Зачем? Почему Мохнатое?..

Неизвестно.

Неизвестно, потому и страшно.

Всем страшно, кто сидит передо мною - на полешках, на фанерках, а то и просто на асфальте.

А я еще ничего не показывал, я только произнес слово...

Впрочем, нет, страшно не всем.

На коротком толстом бревне рядышком сидят Кумачи - Коля, Паша, Васька. Васька - младший из Кумачей. Он смотрит представление не просто глазами - ртом распахнутым, носом, всем

своим круглым улыбочивым лицом. Васька больше всех похож на мать. У него такой же аккуратный, с точечками веснушек нос, аккуратный круглый подбородок, серые глаза и неожиданно густые пушистые брови на маленьком лице.

Коля - старший из Кумачей и вообще старший во дворе. Он молчалив, задумчив, бледен, словно какая-то болезнь подтачивает его изнутри. Сначала мне казалось, что Коля неодобрительно относится к моей затее с театром детское баловство, мол... Но потом он стал приходить к нам домой и брать книжки для чтения. Читал он медленно, аккуратно, книги всегда возвращал обернутыми в газету. Неожиданно и не скоро вспоминал подробности, которых я не замечал и не помнил, потому что читал те же книжки бегом, захлебываясь, пропуская абзац за абзацем. Во дворе Коля держал дистанцию со всеми, и никто никогда не смел ему крикнуть: "Колька!"

Паша - средний брат - больше всех походил на отца, дядю Романа. Такой же быстрый, ловкий, рыжеватый, с хитрецей в узких зеленоватых глазах. Ему тетя Маша поручала поливать двор из шланга. В эти минуты он был царь и бог, но без капельки гонора, необыкновенно щедрый ко всем. То устроит фонтан, подняв шланг вертикально вверх (так и вижу, как вода играет с солнечным лучом!), то обольет кого-нибудь, а тот визжит от радости - сам напросился. То в виде особого расположения даст подержать медный наконечник шланга (пишу и чувствую, как он бьется в руках, холодный наконечник, как дрожит шланг от напора воды, как скатываются с асфальта, гонимые водой, круглые комочки пыли, как свежо пахнет промытый асфальт, как дымится на солнце его серая, крупнозернистая, потрескавшаяся корка).

Кумачи смотрели мое представление спокойнее других, они были не из того теста, чтобы пугаться при виде клочка рыжего меха.

Остальные зрители были младше годами, а потому - непосредственнее. Они переживали по-настоящему, и Мохнатое пугало их почти всерьез.

...Вот прямо передо мной сидит Верка. Она осунулась, и глаза ее, всегда выпуклые, блестящие, куда-то ушли, провалились, а под ними легли тени. И белая она. Я даже представить не мог, что лиловые щеки могут так бледнеть.

Мне тоже страшно, но страх мой веселый. Мурашки ползут по спине, а мне радостно. Мне радостно оттого, что я все могу. Скажу

слово - смеются. Скажу другое - трепещут. Я могу все.

Две картонные коробки для обуви склеены донышками. В одной коробке кондитерская. В другой - конфетный склад. Повернул коробку - новая сцена. На складе штабелями лежат конфеты в ярких фантиках. Много конфет. Дорогих! Зрители ахают. Они не знают, что под фантиками хлебные катыши.

Девочка плачет на складе. Девочка хочет домой. От конфет у нее болят зубы, она мечтает о соленом огурце. Девочка плачет и зовет друзей. Но нет у нее больше бубенчиков, и не слышит ее Кавалер. А Матрос и подавно не слышит. Как вы помните, он отправился в плавание. Нелегко вернуться домой оттуда, где Атлантический океан погибает за мыс Доброй Надежды.

Кондитер кричит:

- Эй, девчонка, сколько конфет обфантила?

- Три тысячи пятьсот восемьдесят семь...

- А сколько съела?..

Девочка молчит. Она тихо плачет. Кувшин и Графин хихикают на окне, стараясь хихикать погромче, чтобы хозяин слышал.

Позвольте, как же мы забыли, что у Матроса есть перстень и что этот перстень волшебный?.. Стоит затуманиться и потускнеть камню, Матрос ни минуты не задержится в путешествии. Где бы он ни был - сразу спешит домой: дома неладно.

Корабль падает в пучину. Снова встает на волну. Паруса - в ключья. Руль - пополам. Да, нелегко вернуться домой...

А Кавалер? Ну да, конечно, он один на грустной вечерней дороге. Он призывно играет на флейте. Он горько взывает, он обещает Девочке каждый день покупать ее любимые вафли, только бы она вернулась домой. Он согласен терпеть насмешки, ехидные замечания и капризы...

Где-то близко звенят колокольчики. Кавалер бросается в ту сторону.

- Это ее колокольчики!..

Тогда тихо, вкрадчиво, осторожно я выдвигаю из-за спины руку. В руке - Оно. То, чему так трудно подобрать название. Оно рыжее и мохнатое. Оно шевелится, и оно бесшумно. Его не сразу заметишь, а когда заметишь, будет поздно...

- Гляди, гляди, там мохнатое! - кричит Верка.

И в ту же самую минуту я слышу еще один голос, голос Сережи. Он кричит: "Полундра!" - и я сразу вижу то неожиданное и страшное,

чего не видят зрители, потому что сидят спиной к воротам. Из подворотни, согнувшись в три погибели, ступая ритмично и прытко, словно на пружинах, хоронясь за поленницами дров, неожиданно выскакивая оттуда и быстрыми перебежками пересекая двор, взмахивая деревянными мечами, саблями и щитами, в блестящих шлемах-кастрюлях и шлемах-коробках из-под торта, к нам приближается неисчислимая, несокрушимая, неумолимая орда дома одиннадцать. И впереди - сам Чингисхан.

Он уже близко. Я вижу его кривую жестокую улыбку, его усики, нарисованные углем, и театральный бинокль, болтающийся на груди. Он торжествует сейчас, Чингисхан. Шутка ли - с такой армией незаметно войти в стан врага, окружить его, беспомощного, безоружного, неспособного сопротивляться... Набег! Классический черный набег!

- Полундра! - отчаянно кричит Сережа и бросается вперед, чтобы защитить меня и театр своей грудью. Бесстрашный верный Сережа!

Боевой клич Чингисхана, подхваченный его армией. Крики и плач моих зрителей. Звон стекол. Дребезжание старой помойки, на которой пляшут победители.

Бежать поздно. Не глядя, я сгреб все, что мог, за пазуху и упал на землю, прикрыв собою свое богатство. Пусть колотят, пусть! Я не боюсь! Выдержу! Лишь бы их спасти - Матроса, Кавалера, Девочку!..

Я вижу, как горохом рассыпаются по двору мои зрители, как с гиком и свистом догоняют их враги и плашмя лупцуют мечами.

Я вижу Сережу, окруженного целой толпой. Вот он стоит, держится, мелькают его светлые кудрявые волосы, сжатый кулак... Но еще секунда, и Сережа исчез.

Потом я вижу Кумачей - они стоят у стены, все трое, рядом, плечо к плечу, отбиваются руками и ногами. Потом я перестаю видеть и Кумачей.

Ноги Чингисхана мнут и топчут корабль Матроса, втаптывают в лужу белые паруса. А рядом трое мальчишек отнимают что-то у Верки. Верка визжит, катается по асфальту... Вот один взвыл:

- Она кусается! - и отскочил в сторону.

Этот крик послужил почему-то сигналом к отступлению. Даже Чингисхан, который сидел на мне верхом и уже вцепился в мои волосы, для острастки рыча и повизгивая, - даже он ослабил свою хватку.

- Холера! - закричал он вслед своему войску. - Куда, холера?!

Ему не ответили. Тогда он вскочил на ноги и, пихнув меня напоследок носком сапога, побежал к воротам.

В высоко поднятой руке он держал знакомый предмет, похожий на скипетр. Где-то я видел этот предмет, но сейчас не мог узнать его издалека.

Вражеская орда рассеялась так же внезапно, как и появилась.

Плачевное зрелище. Двор усеян обрывками цветной бумаги, картона, тряпок. Кто-то плачет, кто-то прикладывает к глазу осколок зеленого стекла. Я вытаскиваю из-за пазухи Матроса, Девочку... А где Кавалер? Вот Кувшин, Графин, вот рыжая рукавица...

Неужели его утащили враги? Чего только не представляется моему воображению: огонь, пляшущая орда, скорчившаяся в огне фигурка Кавалера... Я бросаюсь к воротам.

- Пстой, пстой!

Подбегает Верка. Протягивает руку. На грязной ладошке - Кавалер. Шляпа порвана пополам, шпага держится на волоске, левая нога сломана, а флейты нет!..

Я сталкиваюсь с Веркиным взглядом. В нем еще не остыла отчаянная смелость, безрассудная решимость: в бой так в бой! До конца так до конца! Кусать, щипать, рвать зубами, но не отдать! Ни за что на свете не отдать!

Верка стоит передо мною в рваном, замызганном платье. Шаровары спустились ниже колен. Косицы расплелись. Чулки веером лежат вокруг бареток. Верка смутилась, опустила голову.

Я внимательно разглядывал ее и, казалось, видел впервые.

Лицо у Верки продолговатое, яйцом, острым кончиком книзу, к подбородку. А подбородок... Бывают такие лимоны, с шишечкой на одном конце. Эта шишечка и есть Веркин подбородок.

Рот у Верки круглый, маленький, полуоткрытый, и оттуда влажно светятся зубы. Глаза голубые и словно плавают в тумане. Волосы кое-как разобраны, а пробор - винтушкой через всю голову, и на лоб, прямо к носу, свисают пять-шесть длинных прямых волосков. Нос у Верки приплюснутый - от переносицы и ниже, почти до самого кончика, но вдруг, спустившись почти донизу, он меняет форму, выпрыгивая вперед острым клювиком.

И еще: плечи у Верки покатые-покатые, а шея длинная-длинная, и оттого вся Верка - особенно если она в узеньком платье - похожа на бутылку с длинным горлышком.

Может показаться, что это описание находит в Веркином облике

смешные и нелепые черточки. Ничего подобного. Просто я вдруг увидел, как она не похожа на всех. И подумал: а не такая уж она маленькая.

Надо было сказать ей "спасибо". А я смутился. Да мне и в голову не пришло. Верке - спасибо?..

Кто-то тронул меня за плечо. Сережа.

- Они украли Кондитера, - мрачно сказал он.

- Да?.. - Я все еще смотрел на Верку. - Ладно. Пускай подавятся.

Теперь я понял, что держал в руке Чингисхан: это был мой старый медный подсвечник, облитый потеками стеарина.

А ПОТОМ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Сколько раз я произносил эту фразу и так и этак, порой она казалась мне чересчур простой и спокойной, по сравнению с тем громадным, что стояло за нею. Но в конце концов я убедился: любая другая фраза на этом месте звучала бы неточно. Именно так: а потом началась война.

И солнце светило, как вчера, и небо над городом было по-прежнему голубым, и прежние птицы летали беспечно и шумно над крышами, а война уже началась.

Началась она где-то далеко, на границе, и представить ее в первый момент было не просто, тем более что тут, в нашем городе, еще оставалась тишина, она еще лежала там и сям прозрачными невесомыми облаками - в углах комнат, на задних дворах, в тени под деревьями, где мирно жужжали мухи...

И все-таки война началась. Узнав об этом, мы взяли свои сабли и ружья и пошли на задний двор готовиться к битве с Чингисханом, которого уже окрестили между собой фашистом, и шумели там весело, лихо, победно, выгоняя из паутинных углов последнюю тишину, пока не пришел Коля Кумач, особенно серьезный, бледный, с печальными серыми глазами на большом одутловатом лице, и не сказал - чересчур грубо, как мне тогда показалось: "Дураки, война ведь..."

И вот тут только, после этих Колиных слов, какой-то привычный бег внутри меня замедлился, приостановился, и я попятился. Я почувствовал спиной, ногами, плечами, всем телом почувствовал черную тяжелую тучу, которая все быстрее и быстрее двигалась над землей, приближаясь к нашему городу, и там, где она проходила, все становилось таким же черным, как она сама...

Улица пустела с каждым днем. Уехал в тыл Чингисхан и большая

часть его армии. Уехал Сережа, верный мой приятель.

Как ему грустно было уезжать, а мне оставаться без него!..

За несколько дней до Сережиного отъезда я в последний раз вынес во двор свой театр.

Ко мне никто не подошел.

Раньше, стоило мне появиться на крыльце с коробкой в руках, со всех сторон с криками неслись ребята. Сейчас я стоял один посреди двора, в то время как около дворницкой целая толпа окружила какое-то незнакомое мне металлическое устройство, окрашенное в ярко-зеленый цвет.

Я подошел ближе.

- Чего это?

Сережа повернулся ко мне, руки в машинном масле.

- Сирена, - сказал он, скользнув невидящим взглядом по моей фанерной коробке. - Послушать хочешь?.. - Он начал крутить ручку сирены, и двор постепенно наполнялся тяжелым воем...

Из дворницкой выбежала тетя Маша:

- Не балуй!

На прощание Сережа вырезал ножом на перилах лестницы наши инициалы вырезал рядом, глубоко, так, чтобы, спускаясь и поднимаясь, я всегда мог чувствовать их рукой.

Уезжая, он подарил мне свой нож с одним лезвием, но зато таким острым и длинным.

Тут я спохватился, что ничем не отдал ему. Я заранее не подумал об этом и теперь лихорадочно стал соображать, что бы такое... А Сережа уже бежал к воротам, потому что времени было в обрез и его ждала машина.

Наконец я сообразил, что ему подарить, и помчался домой, прыгая через три ступеньки. Дома я раскопал свой угол с игрушками и, найдя, что хотел, снова выскочил на улицу.

Шофер заводил рычагом машину. Сережа сидел в кузове на узлах, и, хотя там кроме него было еще много народу, он казался одиноким и каким-то худеньким.

Я уцепился за борт грузовика, вскарабкался на колесо. Сережа улыбнулся мне слабо, но тут же вспыхнул открытой радостью, когда увидел, что я ему протягиваю.

Я подарил ему своего Матроса.

И он сказал улыбаясь, а глаза его блестели от слез, которые он безуспешно прятал:

- Ну, ты смотри тут...

Я понимал Сережу. На его месте я испытывал бы то же самое: его увозят из города, который не сегодня-завтра станет фронтовым, а я остаюсь. Полуотвернувшись, чтобы он не заметил, что я вижу его слезы, я сказал:

- Ну, ты смотри там...

И оба мы расхохотались.

Я спрыгнул на землю, когда колесо подо мной поехало.

В нашем доме из старых ребят остались Верка да Кумачи. И еще новеньких двое появилось - эстонцы из города Нарва. Они были молчаливы, с нами не общались, лица их опалило солнце, но загар был какой-то нездоровый, словно их коснулся край черной тучи, что неумолимо двигалась к нашему городу.

Верка осталась потому, что им ехать было некуда, - так ее мать говорила. "Родных у нас нет, - говорила она, - а к чужим мы не поедem".

Кумачи, я думаю, не уехали потому, что были необходимы нашему дому. И прежде всего, конечно, тетя Маша. Она не просто дворничихой была - она была хозяйкой дома. Она знала все его слабые места, все его болезни. Дом был для нее как бы живым существом, к непонятной жизни которого она все время прислушивалась. Ничего не понимая в технике, она, однако, знала, где просели балки на чердаке, где трещины в кирпичных сводах подвала, где готовы прохудиться и потечь трубы. Она была добрым духом нашего дома.

...Особенно ясно вижу я тетю Машу. Я отчетливо слышу морозный запах ее тулупчика. Вот она садится на стул посреди нашей кухни, не снимая тулупчика и осененного изморозью головного платка, и, следуя взглядом за мамиными руками, говорит с нею своим тихим-тихим, ни на чей не похожим голосом. Когда-то в юности тетя Маша заблудилась в лесу, долго звала на помощь и сорвала себе голос, повредила самые его корешки. Теперь он у нее "севши". Говорит она хрипло, на самых низких тонах, кричать не может, и оттого кажется, что тетя Маша бесконечно добра. Впрочем, так оно и есть: она добра. Очень добра.

Если вслушаться в ее разговор, окажется, что он певуч. Мелодия ее речи всегда немножко удивленная, потому что голос тети Маши чуть возвышается к концу фразы. Эта прихоть ее голоса была мне почему-то особенно дорога. Я любил его слушать, где бы он ни

зазвучал: у нас ли дома, во дворе, в дворницкой...

Говорила тетя Маша мало. У нее было любимое словечко - эвон. Произносила она его часто, но речь ее от этого не казалась бедна, потому что словечко это всякий раз являлось на свет с особым, новым, выразительным чувством.

"Эвон!.." - удивление: Кумачи принесли хорошие отметки.

"Эвон..." - ворчливое осуждение: порвали штаны на заднице.

"Эвон!.." - недоверие: младший Кумач, Вася, опять приврал что-нибудь, по своему обыкновению.

До того как в первый же месяц войны погиб муж тети Маши - дядя Роман, у нее была полная семья, не хуже, чем у других, и тетя Маша казалась еще молодой - и себе, и другим.

Тетя Маша, или просто Маша, как ее называла мама, жила со своей семьей в подвальной квартире, куда надо было спускаться на четыре ступеньки вниз. Окошки там всегда оказывались на уровне нормального хода футбольного мяча, что приносило тети Машиному семейству немало беспокойства. Тетя Маша трудилась днями и ночами - кому-то шила, кому-то стирала, мыла окна и полы, пилила дрова... А Кумачи - Паша, Коля и Вася безоговорочно делали всю дворницкую работу, за которую контора платила тете Маше жалованье.

Почти каждая семья, где трудилась тетя Маша, чем-то ей помогала. Кто одежкой, кто обувкой. На Кумачах - особенно летом - все горело.

Однажды весной тетя Маша сшила им всем трусы из выцветшей и вылинявшей кумачовой скатерти, покрытой там и сям чернильными пятнами. С моей сегодняшней точки зрения, это была как бы историческая скатерть. Ею долгие годы накрывали длинный дощатый стол, что стоял на площадке под лестницей, где проходили разные домовые собрания и товарищеские суды. Отец мой был членом домового комитета и, кажется, секретарем товарищеского суда. Его уважали за справедливость. Даже те, кого суд наказывал, никогда на него не обижались.

Но я о скатерти. В конце концов появилась новая, лиловая, чуть ли не бархатная с кистями, а старую списали, и тетя Маша пустила ее на дело.

Кумачи стали Кумачами, когда в один прекрасный день выбежали на улицу в розовых трусах, на которых кое-где виднелись неотстиранные чернильные пятна.

Кумачи были ребята добродушные и большие охотники ходить компанией. Предвоенным летом, узнав, что я не умею плавать, они взяли меня в компанию и повели на Неву - учить.

Два Кумача нырнули солдатиком. Я встал в исходную позу и обернулся к третьему, спрашивая: так ли? Тот кивнул благодушно: ну дак... Я прыгнул. И напоролся ногой на железяку. Истекающего кровью, Кумачи несли меня через мост, до самого дома, на скрещенных руках, а третий, младший, семенил около, то и дело забегая вперед и во весь рот радуясь капающей из меня крови: "Кровищи-ти!.." Его радость не обижала меня. Напротив, я сам радовался - пусть хлещет! Жаль только, прохожих маловато.

Начинается осень. Мы сидим у обшарпанной неудобной стены, из которой в мирное время выколупывали штукатурку, чтобы рисовать на асфальте "классы" и рожицы.

Мы сидим на досках и греемся. Последним солнцем. Сидим от одной тревоги до другой.

Я опускаю голову в колени. Во рту копится голодная слюна. Я часто сплевываю и лениво слежу, как слюна тянется, густо и медленно.

Верка сидит на другом конце досок и не смотрит в мою сторону. А между нами эстонцы - Харри и Тээт. Они тоже молчат, хмурые, настороженные. Потом младший, тот, что сидит ближе ко мне, что-то говорит брату по-своему.

Некоторое время они вполголоса перекидываются короткими фразами, потом старший поворачивается ко мне:

- Слушай, брось плевать.
- А тебе какое дело?
- Никакого. Просто смотреть противно.
- А ты не смотри.

Мне нужна поддержка, и я обращаюсь к Верке:

- Смотри-ка, будет мне указывать, плевать или не плевать!

Верка, не поворачивая головы, говорит вдруг с отчетливо взрослой злобой:

- Едут, едут на нашу голову... И чего едут - немец их и так не тронет...

Харри вскакивает с досок, наклоняется к Верке и говорит по-русски, произнося слова четко и раздельно, как человек, который только что их выучил:

- Наш отец командир. Маму убили в пути. Бомба, понятно! А ты

дурак! Твой хлеб не надо.

Он сдергивает брата с досок, и они уходят.

Мне стыдно за Верку и за себя, хотя признаваться в этом неохота.

- Слыхала! - говорю я Верке с оттенком презрения, чтобы показать свою непричастность к тому, что произошло, хотя чувство стыда такое, словно не Верка, а я те слова произнес. А все потому, что смолчал и Верку не одернул при них, а, значит, - молчанием своим согласился с нею. Мало того: сам подал повод ко всему...

И, еще больше разозлившись на себя, говорю ей сквозь зубы:

- Дура...

Верка глядит на меня в упор и с ненавистью произносит:

- Вам что, у вас запасы.

Чудовищно! Какие запасы? Нет у нас никаких запасов! Что было съедено давно.

- Ты... ты... - Я не нахожу слов.

- Запасы! - кричит Верка с наслаждением. - Запасы!

- Ах вот что...

В слепой ярости я хватаю Верку за руку и тащу ее за собой. Она упирается, ревет, но я сильнее. Я тащу ее на лестницу, она хватается за перила. Я отрываю ее руки от перил, а сам повторяю, задыхаясь от борьбы:

- Запасы, да?.. Запасы, значит?..

Так я втаскиваю Верку в нашу квартиру, толкаю на кухню.

- На, гляди!

Я сую ее головой в пустые кастрюли, громыхаю чистыми пустыми сковородками, трясу над ее ухом пустыми банками из-под крупы.

Потом я веду ее в комнату, зачем-то выдвигаю ящики комода, распахиваю буфет...

- Говори: есть запасы?

Верка устала, притихла, только всхлипывает. Я тоже устал, у меня кружится голова.

- Ну, говори.

Продолжая всхлипать, она качает головой: нет, мол...

- То-то. Иди домой.

От Сережи я получил всего одно письмо. Он писал, что живет на берегу Волги, каждый день плавает и поставил перед собою цель до конца лета форсировать реку. Еще он писал, что ни с кем не дружит, что убежал бы обратно, да мать жалко - болеет.

А в конце письма было вот что:

"Я Матроса твоего одному человеку подарил, сыну нашей хозяйки, Костя его зовут. Ты не обижайся, Костю на фронт призвали, на Балтику. Когда я пришел с ним прощаться, он обклеивал фотокарточками свой сундучок. Я пришел, а он говорит: "Видишь, Серега, место пустое осталось. Дай Матроса твоего - дырку заклеить". Я сказал: "Не могу, это подарок". Он говорит: "Ты, Серега, жмот". И заплакал. И говорит: "Я, Серега, фронта не боюсь. Я боюсь, что меня первая пуля убьет. А мне надо фрицев сотни три положить. За отца, за брата Витю..." Я говорю: "Не плачь, на Матроса..." Вот как было. А про тебя я ему рассказал и адрес твой дал. Костя обещал зайти, если будет в городе..."

Война подступила совсем близко. Она окружила город.

Дул сухой длинный ветер, такой жаркий, словно он вырывался из громадной гудящей топки. Порой в этой топке сжигали что-то ядовитосладкое, обжигаящее глаза. Это горели сахар, хлеб, мясо, подожженные бомбами врага.

Ветер дул с одинаково ровной силой днем и ночью. Куда бы ты ни шел, ветер не давал передышки. Улицы казались гигантскими трубами, по которым перегоняли горячий тусклый воздух.

Неизменно упругий напор ветра был непонятен. Прятаться от него за углом - бессмысленно. Ветер поворачивал следом, и здесь, на повороте, у него только прибавлялось силы.

Ветер гнал песок и пыль. Никто не мог смотреть ему прямо в глаза.

Песок хрустел на зубах, стучал по стеклам, картаво кричал под ногами.

Через город шли бесконечные отряды пехотинцев. Люди узнавали об этом, еще не видя их, - по грузному впечатыванию сапог в песок. Тогда люди выходили из подворотен и молча провожали взглядом солдат, цвет которых сливался с цветом ветра. Даже глаза солдат, если удавалось в них заглянуть, были того же, песчаного, цвета.

Солдаты шли молча, и жители стояли молча.

Враг был близко. Ветер доносил его дыхание.

Среди жителей на тротуаре стояли Девочка и Кавалер. Кавалер крепко сжимал в руке эфес своей длинной шпаги.

Девочка сказала:

- Ты тоже уйдешь на войну? Как Матрос и как эти солдаты?

Вместо ответа Кавалер погладил ее по руке.

- А как же я? - спросила она.

- Мне грустно оставлять тебя, - сказал Кавалер, - но выхода нет. Потерпи немного, война кончится, мы победим и вернемся.

Он удивился, почему Девочка не плачет. Ему было бы легче, если б она заплакала.

На следующий день Кавалер отправился в ополчение.

Седые усталые командиры, что принимали добровольцев в отряды, переглянулись между собой и еще усердней задымили папиросами. Потом главный командир охрипшим от приказов голосом спросил:

- Кто вы?

- Кавалер, - ответил наш Кавалер, который думал в эту минуту о вещах возвышенных и героических.

- То есть? - переспросил главный командир, которому показалось, что он ослышался. - Инженер, что ли?

- Кавалер, - повторил наш Кавалер.

Один из командиров хмуро сказал:

- Шутник, видно...

А другой, улыбаясь своей догадке, воскликнул:

- Наверно, этот товарищ - орденосец!

Перья уже готовы были уважительно заскрипеть, но Кавалер скромно сказал:

- У меня нет орденов.

- Кто же вы? Кем работаете? - строго спросил главный командир.

- Работаю? - удивился Кавалер и покачал головой.

Тогда тот, самый хмурый, гаркнул:

- Да вы умеете что-нибудь, черт подери?!

Кавалер потянулся было за шпагой и перчаткой, но вовремя вспомнил, зачем пришел сюда. Он взял себя в руки и сказал:

- Я танцую, играю на музыкальных инструментах, читаю стихи...

- И надменно добавил, в упор глядя на хмурого: - И недурно владею шпагой.

- Так бы и заявили сразу, что артист, - облегченно вздохнул главный и крикнул: - Дайте ему оружие!

Кто-то вышел в соседнюю комнату и, вернувшись, протянул Кавалеру маленькую серебристую флейту.

СЕРДЦЕ УРАГАНА

Тетя Маша собрала нас, ребяташек, посреди двора. Надо было

таскать на чердак мешочки с песком - на случай если фашисты бросят зажигательные бомбы.

- Встанете цепочкой на лестнице, - сказала тетя Маша, - и будете передавать друг другу...

- Дайте нам с братом другую работу, - сказал Харри.

- Почему?

- Мы не будем с ними.

- А я с ним не буду, - Верка кивнула на меня, - он дерется и ругается!

- А я...

Только я хотел сказать, что я, как тетя Маша, крепко схватив меня и Верку за руки, заговорила быстро, взволнованно своим тихим хриловатым голосом:

- Да вы что, детки... Что с вами? Зачем волчатами глядеть? Эвон, враг у ворот, а вы... - Она помолчала, потом, глядя на эстонцев, сказала еще тише: - Господи, да моя бы воля - посадила бы всех за один стол, да накормила бы досыта, да поглядела бы, как смеетесь, как ладите друг с дружкой... А после и помереть не жалко.

Она махнула рукой и пошла на лестницу. Мы, не глядя друг на друга, поплелись за нею.

А потом получилось так, что работа нас заворожила. У нее был четкий и властный ритм: протянул руки - раз, принял мешочек - два (он тяжеленький и теплый!), повернулся - три, быстро взбежал на один марш лестницы - четыре, передал мешочек из рук в руки - пять, быстро спустился, чтобы принять следующий, - шесть...

Мы забыли о ссорах, мы шутили, смеялись над Васькой Кумачом, у которого был рваный башмак, а потому Васька часто спотыкался и падал...

После работы усталые, пропотевшие, грязные, счастливые своим неожиданным единством, таким естественным и свободным, мы вылезаем через чердачное окно на крышу и осторожно садимся рядом на раскаленное железо. День тихий, как бы и не военный. Небо чистое, голубое. Город лежит перед нами как на ладони. Отсюда видны и Васильевский остров, и Нева - до самого Литейного моста, и Петропавловская крепость, и Ростральные колонны...

Горячий, с равномерной силой дующий ветер сушит мокрые волосы. Мы сидим в одинаковых позах, сцепив руки на коленях. Только Харри лежит на спине и смотрит в небо.

И тогда кто-то говорит:

- Расскажи про Кавалера...

Я не могу ручаться, что тогда, на крыше, рассказывал то же самое и теми же словами, что и сейчас. Но крепость была перед моими глазами, сразу за Невой, и я помнил, как мы ходили туда с отцом в мирные дни, как бродили мы с ним вдоль крепостных стен, как бормотал он непонятные красивые стихи... И я стал рассказывать, глядя на крепость...

В самом центре города, на острове, стоит крепость. Подступающие к ней с трех сторон кварталы и путаница городского ландшафта мешают глазу воспринимать этот участок суши как остров. Чтобы убедиться в том, что вы находитесь на острове, самое правильное - обойти его своими ногами.

Попасть в крепость можно через любой из двух мостов. Кавалер предпочитает западный. Восточный мост официален, даже угрюм. Так и кажется, что он перед самым твоим носом подыметя и преградит путь в крепость.

Над западным мостом склоняются голубые ивы, и мирный запах сырых камней встречает тебя уже на середине пути. А густой плеск реки о деревянные сваи... А нестерпимое блистание воды под неяркими лучами солнца, словно там тихо плывет широкая плоская рыбина и ее чешуйчатая спина непрерывно вздрагивает... А заросли чертополоха и ромашки у ярко-красной, будто обнаженной кирпичной стены... А сонные ящерики на прогретых гранитных плитах...

Кавалер ступает на остров и - о чудо! - сухой неумолимый ветер, что властвует над городом, остается у него за спиной. Здесь, на острове, у крепостных стен, царит глубокая тишина. Листья столетних деревьев колышутся уже от того, что рядом пролетела ласточка. А ласточка летит деликатно, она не машет крыльями как попало, не кричит без толку - она взмывает над крепостью изящным черным значком, потом вдруг поворачивается боком, вспыхивает на солнце и сгорает дотла. Но вот еще одно чудо: в следующую секунду она рождается заново, сотканная из небесных и земных нитей!..

Кавалер ложится в густую траву. Заложив руки за голову, он долго любуется голубой подвижной картиной в причудливой рамке из зеленых веток.

Картина ежесекундно меняется: дюжина ласточек принимает в небе разнообразные положения, словно исполняет там какой-то танец или чертит незнакомые загадочные письмена...

Последний летний месяц над городом! Грибная пора. Ах, если бы вернуть довоенный август...

В мирное время Матрос всегда торопился вернуться из плавания к концу августа, когда город выпускал из гаражей автобусы с табличкой "Грибы", а длиннохвостые поезда щетинились плетеными корзинами.

Приходя в лес, Матрос первым делом искал такую поляну, на которой было достаточно цветов для Кавалера и ягод для Девочки. В хорошем лесу найти такую поляну не составляет труда.

После этого, помахав друзьям, Матрос уходил в глубину леса. Возвращался он не скоро и всегда с полной корзиной. И если он говорил: "Иду за белыми", значит, принесет корзину белых. Если говорил: "За красными", ждите отборных подосиновиков - один к одному.

...По вечерам в тесных вагонах люди спали, прижавшись друг к другу, сморенные лесом. На волосах и рукавах у них золотились иголки хвои, а брюки, чулки и сапоги были в разноцветных овальных заплатках - желтых, оранжевых, красных, лиловых.

И когда в сумерках они возвращались, знойный городской вечер обнимал их на вокзале, лето тратило напропалую последние свои силы, а яркая звезда Венера низко повисала над горизонтом. Распахнутые окна провожали их восторженными взглядами. Улицы обмахивались деревьями и зажигали первые искусственные огни.

Ночью из каждого окна, из-за каждой двери сочились запахи грибного города. Бродячие коты ловили их клейкими носами, навинчивали себе на хвосты и долго сидели в задумчивости, изредка вздрагивая от неясной тревоги, которую принесли с собой запахи дикого леса. Глухо кипело варево на плитах, румяные шляпки морщились над огнем и роняли в него первые капли янтарного сока.

Медленными шагами Кавалер пересек остров. Он прошел мимо молчаливых бастионов, мимо гибких, словно удочки, берез, проросших меж камнями крепостной стены. Он пересек Соборную площадь и подивился ее пустынности и чистоте.

Кавалер поднял голову и проследил за стремительным бегом золотой иглы, которая как раз готовилась пронзить маленькое облачко, заблудившееся в огромном небе. Вот облачко запуталось, намоталось на конец иглы и стало медленно раскачиваться, своим тихим движением делая еще непонятнее загадку исчезновения ветра.

Кавалер пересек остров и вышел из крепости через восточный

мост. За все это время он лишь дважды встретил людей. Первый раз это был дворник, который ритмично, словно дирижируя оркестром, махал метлой, подметая улицу за собором, и шорох его метлы был единственным звуком, нарушавшим тишину. Кавалер сначала удивился этому мирному занятию, а потом понял, что здесь, на острове, так и должно быть, и удивляться нечему.

Второй раз ему попались мальчики. Этим он встретил при выходе из крепости, у самого восточного моста. Они стояли у большого костра. Приглядевшись, Кавалер увидел, что там горело. Это были остатки чьей-то утвари, старые тряпки, бывшая одежда. Он различил раскаленную дугу венского стула, который долго сохранял в огне свою изысканную форму.

Мальчики, багровые от солнца и жара костра, железными прутьями подымали над огнем полуобгоревших кукол. Куклы безвольно принимали позы, которые придавало им случайное движение прутьев.

Кавалер долго смотрел в огонь: там рушились целые миры, из зыбких огненных форм тут же возникали новые, которые в свой черед неотвратимо исчезали, давая место иным... Огненный калейдоскоп притягивал к себе...

Раздался бой крепостных часов. Кавалер очнулся.

Пора. Прощай, крепость! Город, прощай!

Он стремительно пробежал через Восточный мост мимо мальчиков, которые по-прежнему не видели его и не слышали.

Последний шаг по широкому настилу моста.

Нога ступает на асфальт.

И тотчас на грудь Кавалеру обрушивается прежняя сила сухого жесткого ветра. Песчинки впиваются в лицо. Пыль застилает глаза. Кавалер оборачивается. Крепость на острове грозно тиха и неподвижна, как сердце урагана.

Девочка долго шла за серой колонной ополченцев и махала рукой, а Кавалер шагал в колонне, одетый в длинную тяжелую шинель, под которой исчез его камзол и бархатные панталоны.

...Где-то в этой колонне мог бы шагать и мой отец. Я закрываю глаза и вижу его, исчерневшего, обросшего рыжеватой щетиной... Вижу, как идет он, неловко прижимая к себе винтовку, страдальчески морщась от неумело завернутых портянок и оттого, что курева нет.

...С каждым годом мне все больше не хватает его, и, чем старше я становлюсь, тем острее это чувство. И то, что я не знаю его могилы -

могу только догадываться, где та братская траншея, и насыпь, и трава над нею, лишь прибавляет остроты и боли. И то, что вина у меня перед ним, детская, жалкая, стыдная... Однажды мама положила нам по ломтику хлеба рядом с тарелками, а в них дымился последний пшенный суп - несколько крупинок, вода и лавровый лист... И вот мне показалось, что его ломтик чуть больше, и я, таясь, поменял их. В комнате было темно, коптилка едва обозначала контуры предметов, - может быть, это был Новый год, не помню. Помню только, что отец уже не выходил и почти не вставал, и щетина на его щеках была пугающе жесткой и редкой, а взгляд равнодушен, и ел он нехотя, что, кажется, и было для меня тогда слабым оправданием...

Когда я стал подростком, мне жгуче не хватало его плеча, слова, взгляда. Когда стал взрослым, страдал без его строгой оценки, без его вкуса, убежденности, знаний.

В отрочестве я спрашивал маму о нем, и она почему-то рассказывала главным образом нелепые, смешные случаи, и выходило из тех рассказов, что отец был чудаковатый, странный человек, что-то вроде Рассеянного с улицы Бассейной, которого она, правда, нежно любила.

Получалось так, что в нашем доме постоянно сквозило, двери скрипели и не закрывались, окна - наоборот - не открывались, печка дымила, стол качался... На этом неприглядном фоне отец пристегивал к рубашке свежий крахмальный воротничок, надевал неизменный узкий трикотажный галстук и с тощим, побелевшим от старости, морщинистым портфелем, где сохранился след от монограммы - две дырочки от винтиков и вдавленный ромбик, - уходил на службу. Он уходил, а в комнате оставался вечный свидетель его страсти дубовый шкаф, набитый книгами. Шкаф был глубокий, и книги стояли там в два ряда.

Платяного шкафа у нас не было, и мамины платья не хранились, как им положено, а лежали в комод, или висели на спинках стульев, или - если проходила очередная мода - укладывались в глубокую круглую фанерную коробку.

Одним словом, получалось так, что в нашем доме не было мужской руки, и поэтому всегда с таким нетерпением ждали приезда дяди Миши или прихода дяди Володи, и тогда стучал молоток, визжала пила-ножовка, дверные петли получали долгожданную порцию масла, переставали дребезжать шарики на кроватях, скрипеть и качаться - стол...

И вот наступил день, когда я стал старше своего отца, и с каждым годом становлюсь все старше, вот уже на девять лет я старше его... Сейчас мы были бы с ним друзья, почти равные по пережитому и по раздумьям. По знаниям-то мне его никогда не догнать, сколько бы я ни прожил. Но это все не главное. Главное в другом. Когда я сейчас думаю о нем и представляю нашу встречу, и разговор, и молчание рядом, я думаю о какой-то важной тайне, которую мы сумели бы вместе с ним открыть. О чем она, не знаю. Но ощущение навсегда утерянной тайны не оставляет меня, когда я думаю об отце.

Детская память моя временами посылает на поверхность с почти недостижимой глубины одну и ту же картину: выходной, утро, щекочущая горло музыка в черном кружке репродуктора, слово "Петергоф"...

Отец разводит в баночке зубной порошок и, расстелив газету, щедро натирает мелом старые парусиновые туфли. Потом он ставит их на карниз, чтобы ветерок и солнце поскорее подсушили их.

Я стою у окна и вижу волшебное превращение: темная влажная поверхность парусины светлеет и становится ярко-белой. Отец берет туфли и, высунувшись в окно, звонко щелкает их подошвами друг о дружку. Легкое меловое облачко подымается над окном и тут же исчезает. Отец надевает туфли с помощью старинной роговой ложки. Он готов.

Парусиновые туфли и Петергоф неразделимы. Может быть, это смешно и странно, но Монплеzir, шахматная лестница, Самсон и прочие чудеса без тех парусиновых туфель не воспроизводятся моей памятью.

Потом мы терпеливо ждем нашу маму. Она стучит ящиками комода, шуршит шелком, легкий запах духов носится по комнате, с ним соединяется запах глаженного белья...

...И вот я вижу молодых моих родителей, осененных радугой петергофских фонтанов: маму в платье с крылышками и с косой вокруг головы, папу в белой рубашке-апаш, в белых полотняных брюках и белоснежных парусиновых туфлях. Отец, как всегда, напевает стихи. Он напевает их всюду - на улице и в трамвае, за столом во время карточной игры и на пляже, и вот теперь, на петергофских аллеях, тоже. Стихи эти непонятны мне, но загадочны и привязчивы...

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,

О всех кораблях, ушедших в море,
О всех забывших радость свою.

.....

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, - плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

КОРАБЛЬ

Когда ранняя зима стянула реку тонким черным льдом, у гранитной набережной встал на прикол большой военный корабль. Можно сказать и так: корабль причалил к нашей улице. Улица заканчивалась широким спуском к реке. У спуска он и ошвартовался. Корабль был весь потрепанный, побитый, в пятнах грязно-серой краски. Кое-где на его борту жирно блестели свежие заплаты.

Корабль - тяжелый, усталый - привалился к берегу. Он не спал, нет. Пушки на нем всегда были расчехлены.

Мы стояли на набережной против корабля и, дрожа от пронзительного ветра, жадными глазами ловили каждое движение, любое шевеление на корабле. Движений было немного - корабль берег свои силы, жизнь на нем текла тайно, с какой-то раздражающей замедленностью.

Когда кто-нибудь из моряков спускался по трапу в город, - а случалось это нечасто, - десятка два таких же, как я, промерзших до костей мальчишек подавались ближе, а самые смелые подходили к трапу и просили:

- Дяденька, дай хлебушка...

Что правда, то правда: оттуда редко спускались с пустыми руками. А если спускались редко, так, наверно, потому, что тягостно было им проходить сквозь строй голодных ребятишек, не в силах ничем помочь.

И когда оттуда, с этого свинцового хлебного неба, спускался бог в брезентовой робе с капюшоном, в черной ушанке, с ввалившимися невидящими глазами и втянутой на щеках кожей, он неожиданно останавливался, внезапно обретал голос, хрипло говорил: "Эй, пацан!" - и торопливо, сердито совал в руки счастливцу сухарь, шматочек сала или пару темных осколков сахара...

На набережной, близ корабля, высился огромный железный чан на бетонных подпорах. Летом под ним разжигали костер и варили смолу. Когда потом весенней туманной ночью подлеченный корабль

уйдет в море, на боку сверкающего черного чана кто-то оставит два слова, всего два слова - белой масляной краской: "Прощай, Мария!".

"Не "до свидания", а "прощай", - думаю я сейчас. - Не Маша, не Маруся, а Мария".

Он был уверен, что не вернется.

...Верка никогда не ходила к кораблю. Стоять на набережной, пожирая глазами палубу, было привилегией мальчишек. Да и то не всех. Эстонцы, например, никогда там не появлялись. Я думаю, им тетя не позволяла туда ходить, эта строгая седая старуха с толстой самокруткой в худых желтых пальцах. Однажды Васька Кумач по своей Кумачевой доброте сказал им: "Пошлите с нами!" Харри ответил: "Мы не просим" - и отвернулся.

Не ходил на берег и Коля Кумач. За немногие месяцы войны он стал совсем взрослым. В его печальной серьезности было что-то predetermined, роковое.

Это он, Коля, помог маме отвезти зашитого в простыню отца в тот переулок, откуда ночью мертвых увозили куда-то. Через много-много лет мама показала мне этот переулок. Самый обычный переулок, напротив кинотеатра, куда я так часто бегал когда-то. Потом всю жизнь я старался обходить те места стороной.

Таким образом, Коля Кумач осуществил тот последний ритуал, до которого я почему-то не был мамой допущен. Не знаю, как это объяснить, но с того дня Коля отдалился от меня, стал недоступным...

Самому Коле оставалось жить полгода. Когда весной Кумачи уехали через Ладогу на родину к себе, в деревню, Коля простудился, заболел воспалением легких и уже не смог подняться. Среди моих старых детских книжек есть одна, обернутая в газету. Газета желтая, ломкая, но я ее не выбрасываю. Это память о Коле Кумаче - он заворачивал книжку, он читал ее.

Мне у корабля не везло. Мне никогда ничего не доставалось. Ни у одного моряка ни разу не возникало желания остановиться около меня и сказать: "Эй, пацан..." Наверно, сил отталкивания во мне было больше, чем притяжения. Отталкивают робость и стыд, а их во мне было чересчур много.

И вот еще: у меня даже уверенность горькая была, что я зря хожу. Я до ядовитых слез завидовал счастливым, которым что-то перепадало, и мучился от сознания этой унижительной зависти. Но странное дело: я находил утешение в том, что знаю нечто недоступное остальным.

Я тешил свое голодное воображение упрямой верой, что мой час придет. Я вбил себе в голову, что тот Сережин моряк, Костя, что он найдет нас. У него есть мой адрес, он знает обо мне, у него в сундучке фотография моего Матроса, - значит, он не может не прийти! И он принесет нам с мамой столько сытной еды, что самым удачливым мальчишкам с нашей улицы и не снилось...

Засыпая, я снова мечтал об этой встрече, и в путаных предсонных видениях незнакомый человек Костя принимал облик моего Матроса, и это случалось так часто, что вскоре я перестал их различать. Я ни минуты не сомневался, что его не может убить первая пуля. Я повторял, как повторяют заклинание: он придет, он придет, он придет...

...Мой Матрос смелый. У него ордена. Он потопил вражеский корабль. Я знаю, что потопил.

Только в одном он несмелый, только в одном. Когда началась война, он снял с пальца свой волшебный перстень и спрятал его на дно сундучка. Он боялся, что камень у него на глазах потускнеет - и что тогда делать? Бежать к капитану и просить, чтобы отпустил в город, потому что дома беда? Но ведь у других тоже близкие в городе, и там тоже беда. И если всех отпустить за их бедами, кто будет держать фронт?

Потому Матрос и спрятал свой волшебный перстень на дно сундучка и ни разу с самого начала войны не доставал его оттуда. Когда ему становилось совсем невмоготу, он шел к своему капитану и просил послать его в самое пекло.

Капитан по натуре был добрый и мягкий человек, но по долгу службы вынужден был проявлять непреклонную строгость. Он отрастил сердитые висячие усы и для возбуждения в себе суровости дергал их за кончики. Над усами у капитана помещался нос, похожий на ростр старинного фрегата, если его перевернуть вверх килем. Вместе с капитанскими усами нос производил внушительное впечатление.

Из всех человеческих слабостей у капитана осталась одна. И была она такова, что ее не могли пресечь ни воля, ни тяжкая воинская усталость. Слабость эта проявлялась в том, что капитан каждую ночь видел один и тот же сон. Он видел свое семейство за чайным столом, на веранде, он ощущал пальцами крахмальную скатерть, а спиной - щекотание дикого винограда, и ветерок дул ровно с той силой, с какой это необходимо во время утреннего чаепития. И солнце,

проникая на веранду сквозь тюлевые занавески и заросли дикого винограда, пятнало стол и лица людей, сидящих вокруг него, яркими желтыми веснушками. Цвет ложечки и чая, серебро и кирпич, их благородное соседство... Смеющиеся лица детей, легкие волосы на их головах, шевелящиеся от тихого ветерка. Лицо жены - доброта и покой, и сама она как земля, в которой безусловно уверен. И ты погружаешься в дремоту и затылком чувствуешь прохладу озера, которое там, невдалеке, за верандой...

После такого сна капитан просыпался с влажными глазами и, чтоб сердце у него не болело от несбывшейся радости, сердито кашлял и кричал:

- Вестовой, чарку!..

Мы стояли возле корабля и ждали, когда кто-нибудь подымет на палубу. Из переулка на набережную вышел моряк. Он вел за руку плачущую Верку.

Моряк оставил ее у трапа, поднялся на палубу и тотчас вернулся в сопровождении широкоплечего седого человека в ватнике.

- Вот, товарищ боцман, эта девочка.

- Как тебя зовут?

- Ве... Вера.

- Перестань плакать. Где ты потеряла карточки?

- Не знаю. Я в очереди стояла... - И Верка заплакала еще пуще.

- Ясное дело, вытащили у нее, товарищ боцман, - сказал моряк.

- Ты с кем живешь, Вера? - спросил боцман.

- С мамой.

- А карточки на сколько дней?

- До конца месяца.

- Значит, десять дней осталось... Вот что: эти десять дней будешь ровно в пятнадцать ноль-ноль приходить сюда к трапу. Кастрюльку бери. Поняла? А сейчас вытри слезы и иди домой. Маме так и скажи: каждый день, обед на двоих. Сколько сможем, поделимся.

Я навсегда запомнил глаза этого боцмана, запомнил, как он смотрел вслед Верке. В этом взгляде было все: и жалость, и боль, и надежда, и отчаяние. Всех не спасешь - вот что было в этом взгляде. И утешения нет.

Десять дней мы, мальчишки со всей улицы, приходили к трапу ровно в пятнадцать ноль-ноль. Мы стояли двумя молчаливыми шеренгами и ждали, когда появится Верка с судком и мешочком. Ровно в три из кубрика выходил моряк, брал у Верки судок и

мешочек, потом возвращался, что-то говорил ей тихо, она кивала и шла сквозь строй, опустив глаза, судорожно прижимая свою ношу к животу, а мы как зачарованные смотрели ей вслед.

БЕЛЫЙ ПОЛУШУБОК

В нашем доме появился Ужас.

Нет, не тот старый клок побитого молью и пропахшего нафталином рыжего меха, которым я пугал во дворе малышей. Настоящий, живой Ужас - с руками, ногами и головой.

...Белый ежик волос. Белые глаза с красными прожилками, редкие белые ресницы, редкие блестящие белые бровки, очень белая шея - пугающей молочной белизны. Меня передергивало, когда я думал, сколько еще белого там, под одеждой. И потом, нос у него был приметный - тупой, короткий, с широкими розовыми ноздрями, в которые было далеко видно. И тоже белый, словно присыпанный муницей.

Наш новый управхоз поселился в большой профессорской квартире на третьем этаже. Кто ему разрешил - не знаю, профессор эвакуировался в далекий тыл.

У профессора была двойная фамилия - Иванов-Плакучий и множество книг - про птиц, животных и дикие африканские племена. Он любил по вечерам собирать нас, детей, у себя. Усаживал за круглый стол, пустынный и блестящий, показывал старинные книги с яркими картинками. Громко скрипели слипшиеся от собственной тяжести страницы...

Однажды профессор поставил на стол высокую медную чашу, принес в бережной ладони горстку сухой травы, бросил в чашу, поджег и сказал: "Так пахнет саванна..."

Наверно, никто не разрешал управхозу вселяться в ту квартиру. Может быть, он сам себе разрешил?

Первая моя встреча с ним: несу дрова из сарая, закружилась голова, остановился. Внезапно чувствую - плечами, спиной, затылком чувствую чужое, неприятное, даже опасное!.. Сжался весь, боюсь обернуться, хотя именно это и должен сделать в первую очередь. Пристыл к земле, к стене. Потом пересилил себя, повернулся, как неумелый лыжник, - мелко переступая, не сходя с места... И увидел его.

Он стоял, глубоко засунув руки в карманы нового белого полушубка. Ватные штаны пузырями нависли над белыми бурками. На голове большой трех, покрытый серебристым мехом.

Он внимательно и, казалось, с интересом разглядывал меня, и мне хотелось рукой сдержать свое сердце.

Потом он открыл рот, и я вздрогнул. Голос у него был на одной ноте, механический какой-то...

- Стоять нельзя. Замерзнешь. Иди.

Я поднял вязанку и пошел, сгибаясь под ее тяжестью, тупо уставясь в снег и думая лишь об одном: скорей, скорей уйти из-под этого взгляда, за угол, на лестницу, под защиту толстой кирпичной стены!..

Говорили, новый управхоз скупает картины, подсвечники, люстры. Еще говорили: у него чутье. Если где-то на лестнице появился Белый Полушубок, значит, еще кто-то умирает, а может быть, умер уже...

Белый Полушубок входил в квартиру, прикрывал за собой дверь, и дом замирал. Время проходило медленно, тягуче. Что он делал там, что искал?

Проходил день, и на двери появлялась круглая восковая печать.

Мама говорила: "Останешься один - никому не открывай, слышишь!" И я был уверен: эта фраза про него, только про него. Ужас той зимы воплотился для меня в нем. Но я обманывал себя, я делал вид, что не понимаю маминого беспокойства, и говорил: "А почему?" Она раздражалась: "Нечего спрашивать глупости! Делай как сказано".

В тот день мама достала из комода папины часы "Мозер", которые она положила туда сразу, как его не стало. Мама завела их, послушала, как они идут, и вздохнула:

- Обещали полкило гречи. Пойду.

Она медленно одевалась, накручивала на себя платки, шарфы. Я смотрел, как она одевается, и тоже очень медленно, как-то сонно, думал: "Сейчас она скажет: "Почему не одет? Долго я ждать буду?" Но она молчала, и тогда я понял, что меня она не возьмет с собой. И хотя я часто оставался один, на этот раз все воспротивилось во мне. Не знаю, что со мной случилось: я так не хотел оставаться, так просил взять меня с собой.

- Нет, - сказала мама, - это далеко, сиди и жди.

В дверях мама остановилась:

- Если сможешь, поруби топором нижний ящик комода, там один остался. Протопи плиту.

Я кивнул.

В ушанке, пальто и рукавицах я вышел из кухни в холодную комнату, где стекла выбило воздушной волной во время обстрела, где окна были кое-как забиты фанерой и завешены одеялами. На полу грудкой лежал снег. Дневной свет проникал в комнату несколькими бледными лучами.

Я знал, что мы все съели, что в доме нет никакой еды, ни крошки. И все-таки я стал обшаривать буфет, хотя в нем ничего не могло остаться. Руки у меня заоченели, ног я не чуял. Но чем меньше надежд оставалось что-нибудь найти, тем упорней и ожесточенней я искал, словно кто-то знающий шептал мне, как в старой детской игре: "Теплее, теплее, теплее..."

Потом я услышал шум со двора, оставил поиски, замер. Вместе с непрерывными струйками холода снаружи в дом проникали звуки. Они достигали комнаты с какой-то выпуклой ясностью.

Я услышал, как зазвучали шаги по снегу - тяжкие, неспешные: дзиу, дзиу, дзиу... Что-то случилось со снегом в ту зиму - никогда раньше он не звучал так, не скрипел так грозно. Это был даже не скрип, а визг надсадный: дзиу, дзиу, дзиу...

С лязгом отворилась дверь в парадную, что напротив нашей. Захлопнулась. На некоторое время звуки исчезли - человек подымался по лестнице. Потом - бам-м, бам-м, бам-м! - загрохотал кулаком в чью-то дверь. Тишина. Снова: бам-м, бам-м, бам-м. Опять тишина. Бам-м! Звук чуть изменился. Значит, в другую дверь.

Человек барабанил, и никто ему не отворял. Пустые квартиры. А может быть, у кого-то просто сил нет дойти до двери. Наконец грохот прекратился. Значит, впустили?..

Я слушал. Звуки пропали. Смерзлись в неподвижный ком. Я ждал. И вот со двора донеслись голоса.

- Пошли, пошли, скорее, машина у меня за углом...
- Харри, пошли... Тээт, дай руку...
- Прощай, Марта. Счастливо доехать.
- Спасибо, Маша, прощай.
- Не плачь, скоро на Большой земле будете, хлеба дадут. Сразу-то не накидывайтесь...
- Пошли-пошли, некогда.
- У тебя, Маша, у самой трое. Едем с нами.
- Мы - никуда. Мы каленые, перезимуем...
- Эвон пассажир идет!
- А что, гражданин, поехали? С ветерком довезу!

- Спасибо, мне и здесь хорошо.

- Хорошо!.. Ему хорошо!..

- Прощай, Маша...

- Ребят береги!

Дзиу, дзиу, дзиу...

Где-то на улице, далеко, застучал мотор.

Уехали.

Я видел перед собой лицо Харри, холодное, с прямыми жесткими губами. "Дура, твой хлеб не надо" - или как там он сказал... "Мы не просим". Я вспомнил раздражение, которое порой возникало во мне, когда я проходил мимо него, стройного, сухонького, упрямо не нуждавшегося ни в ком из нас. И я понял, что раздражение мое - не что иное, как признание его превосходства. Мне стало горько, что мы не подружились. Он был чем-то похож на Сережу.

"Мне и тут хорошо". Да, Белый Полушубок так и сказал: "Мне и тут хорошо". Ему хорошо! Всем плохо, а ему хорошо!

Тут я вспомнил мамин наказ. Я выдвинул нижний ящик комода, последний, что остался, и увидел, что он до отказа набит моими старыми игрушками. С трудом я вытащил ящик на середину комнаты.

...В комнате, где на полу тускло мерцали ледяные каточки - когда-то пролили воду, и она тотчас застыла, - в этой комнате я вынимал из ящика игрушку за игрушкой и отбрасывал в сторону. Я собирался расколоть на дрова ящик комода.

С самого дна я поднял картонную коробку. В ней что-то поблескивало. Конфеты? Быть не может! Да, конфеты! И как много!..

Закоченевшими руками я с трудом развернул фантик. На нем лежал черный хлебный катыш.

СКОЛЬКО РАЗ ПРОЩАЕТСЯ

Когда Матрос и Кавалер ушли на войну, Девочка осталась одна. Она доела свой хлеб и стала думать, кто бы ее накормил. И конечно, в первую очередь вспомнила она Кондитера.

Дверь в кондитерскую лавку была заперта. На окне, как и раньше, стояли Графин и Кувшин. Только пыли и паутины стало гораздо больше.

- Гляди, твоя женка топает! - сказал Кувшин, увидев Девочку. - Ножки тоненькие, от ветра качается. Сразу видно: ваша кровь, благородная...

- Хам, наглый хам, - пробормотал Графин, - будешь еще в ногах у меня валяться... Просить будешь, чтобы сторожем в доме оставил.

Невежда!

- Я невежда?! - захрипел Кувшин. - Вот скажу хозяину - зальет тебя водой, лопнешь!..

В это время Девочка подошла к окну, и Кувшин с Графином прервали свою перебранку.

- Скажите, пожалуйста, - спросила Девочка, - хозяин дома?

- Что надо? - вопросом на вопрос отозвался Кувшин.

- Мне бы поесть, - тихо сказала Девочка.

- Конфет небось захотела? - ехидно спросил Кувшин. Он сразу вспомнил Девочку. Память у него была профессиональная.

- Конфет нынче не стало, - вздохнул Графин, - и вина нет. Видите, я стою совершенно пустой.

- Даже квасу нет, - проворчал Кувшин. - Простого квасу и то не выдают.

- Пропустите меня к хозяину, - попросила Девочка.

- Сначала экзамен, - сказал Графин. - Теперь такой порядок. Сначала экзамен.

- Время военное, сама понимаешь, - подтвердил Кувшин. - Везде пропуска требуют. У нас тоже. Значит, так, вопрос первый: сколько раз прощать надо?

Девочка задумалась. Она вспомнила своих друзей, Матроса и Кавалера. Сколько раз причиняла она им боль - столько раз они ее и прощали. Прошлый раз, обежав весь город, они чудом нашли ее здесь, на кондитерском складе, где она заворачивала конфеты в красивые фантики и к тому времени уже успела завернуть два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч и еще триста семьдесят одну штуку, - но даже тогда ни Кавалер, ни Матрос не сказали ей: "Смотри, последний раз прощаем тебя!.." Нет, они просто отвели ее домой, вымыли, наполнив ванну душистой мыльной водой, накормили горячей картошкой с постным маслом и селедкой, а в тарелке плавали серебристые кружочки лука... Напоили крепким и душистым чаем с бубликами и долго пели около ее кровати веселые рыцарские песни, а она засыпала и просыпалась, и голоса их переходили из яви в сон и обратно...

Правда, Кавалер был обидчив. Чуть что, он надувал губы, как маленький, и отворачивался. Поводов для обид было предостаточно. Кто-кто, а она обижать умела. Но стоило ей попросить у Кавалера прощения, погладить его по руке или потереться щекой о его ладонь - он тотчас оттаивал.

- Ну-с, так сколько раз прощать можно? - нетерпеливо спросил Графин.

- Много, - сказала Девочка.

- Что такое "много"! - закричал Кувшин. - Знать надо: первый раз прощается, второй раз обещается, а на третий раз не пропустим вас! На третий, запомни!

- А вот скажите-ка, - спросил Графин, - если в одной стороне кислое, в другой - горькое, в третьей - соленое, а в четвертой - сладкое, вы в какую пойдете?

- В сладкую! - не задумываясь, крикнула Девочка.

- Вам нельзя отказать в сообразительности, - заметил Графин. - А как вы считаете: что самое дорогое в жизни?

Девочка снова задумалась. Она стала вспоминать самые дорогие вещи, какие ей только приходилось видеть. Пианино? Очень дорогое! Но рояль, наверно, дороже...

- Рояль, - сказала Девочка.

- Дура! - крикнул Кувшин. - Деньги! Деньги - самое дорогое. Деньги всё. Был бы я полный денег - горе не беда! Тройка с минусом. Проходи, чего стоишь!..

Девочка внезапно почувствовала: словно магнитом втягивала ее эта лавка, дверь которой сама распахнулась навстречу...

- Ну что вы всегда так орете, Кувшин, - поморщился Графин. - Я буквально весь дрожу от вашего крика. Сразу видно: вам никогда не доводилось бывать в приличном обществе, куда допускается только благородная посуда. Господи! Стоишь, бывало, в горке, кругом фужеры, рюмки, бокалы, уроженцы Берлина, Праги, Вены!.. Тонкие штучки, доложу я вам, не чета некоторым...

- Чихал я на твою горку! - заорал Кувшин. - До квасу дожить бы!..

Тем временем Девочка вошла в кондитерскую и поразились ее тишине и мрачности. Полки были пусты. Только на одной из них стояла раскрытая и тоже пустая конфетная коробочка, как бы напоминая, чем здесь когда-то торговали, да на прилавке громко и быстро тикал будильник.

- Нынче все дорого, особенно продукты питания, - услышала Девочка знакомый голос. За прилавком вырос Кондитер. Пожалуй, он тоже сник, по сравнению с мирным временем, этот Кондитер, но еще держался и казался даже толстым в своей черной меховой кацавейке, надетой на плотную красную рубаху. Лицо у него было белое и

плоское, почти гладкая поверхность, точно утюгом по нему прошлись.

- Может быть, надо вымыть пол или вытереть пыль? - спросила Девочка. - Я могу это сделать за кусочек хлеба...

- Нет-нет, полы мы не моем, - сказал Кондитер, глядя ей прямо в глаза. - Воду далеко таскать, не моем. А пыль у нас Пантелей Иваныч обтирает. Пантелей Иваныч! - крикнул Кондитер. Тотчас в лавке появился кот. Шкура на нем была точно шуба с чужого плеча. Желтые глаза печальны. Сильно поредевший, но еще пушистый хвост безвольно висел.

- Пантелей Иваныч, - приказал Кондитер, - а ну-ка, подмети!

- Подметал уже, - сиплым голосом сказал Пантелей Иваныч, - сколько можно? Я старый, больной, у меня экзема на голодной почве...

- Ладно, не прибедняйся. Вытри пыль тогда. - Кондитер указательным пальцем снял с прилавка ворсистый комок пыли. - Гляди! - Заблестела полоска желтого дерева.

Пантелей Иваныч с тяжким стоном вскочил на прилавок и нехотя хвостом начал смахивать пыль. Пыль подымалась в воздух. Девочка чихала, Пантелей Иваныч тоже. Кондитер злобно фыркнул:

- Хватит!

Пыль снова улеглась на прилавок тем же ровным слоем, что и прежде. Пантелей Иваныч, кутая лапы в мягкую пыль, подошел к Кондитеру и коротко сказал:

- Хлеба.

Кондитер достал из-за пазухи маленький черный кусочек - и кинул на пол. Пантелей Иваныч ринулся вниз, схватил хлеб и исчез за дверью.

- Как видишь, справляемся, помощь не нужна, - сказал Кондитер и облизал кончики пальцев, которыми брал хлеб.

- Я согласна на любую работу, - сказала Девочка.

Кондитер перегнулся через прилавок, кивнул на ее башмаки.

- С тобой свяжись... Устроил тебя на кондитерский склад, помнишь? Ешь сколько хочешь, работа легкая, веселая... А чем кончилось? Явились эти твои... кавалеры и за мою-то доброту - шпажкой по спине! А сейчас ведь церемониться не будут - война. Проткнут, и все.

- Их нет, они на фронте, - сказала Девочка.

- Вот как...

- Да. Я прошу вас. Любую работу.

Кондитер склонился к самому ее лицу и тихо спросил:

- Кирпичики на сухарики пилить будешь?..

Она не поняла, но на всякий случай кивнула утвердительно, опасаясь, что единственная возможность получить хлеб ускользнет от нее.

- Кирпичики на сухарики пилить жутко тяжело, но можно, ежели жрать желаешь, - зловещим шепотом сообщил Кондитер.

С этими словами он достал из-под прилавка темно-красный кирпич, пилу-ножовку с мелкими зубьями и, положив кирпич на прилавок, стал медленно, осторожно пилить его.

Девочка хотела спросить его, зачем он это делает, но снова побоялась спугнуть обещанную работу и, не моргая, глядела на ярко-красную пыльцу, что ложилась веером вокруг кирпича, постепенно смешиваясь с белесой, ворсистой...

Кондитер держал в руке ломтик кирпича.

- Ну, чем не сухарик? - сказал он. - Покрасим, высушим...

- А потом? - с замирающим сердцем спросила Девочка.

- А потом суп с котом, - сказал Кондитер. - Потом на рынок понесем, милая моя, продавать понесем, ты, да я, да мы с тобой... Сухарики! жалобным голосом пропел он. - Из черного хле-ебушка!.. А чтоб не заложили, не застукали... - Кондитер подмигнул Девочке и вытащил из-под прилавка целую кипу карнавальных масок. Точно таких, какие до войны надевали дети на школьных новогодних елках. Он стал примерять их одну за другой, меняя голос и повторяя одну и ту же фразу: - Кому черные сухарики с Большой земли? Кому черные... Кому...

Вот румяная баба в платке, перевязанном крест-накрест.

Вот усатый красавец кавказского типа.

Цыганка с крашеными губами.

Старичок в железных очках и аккуратной мерлушковой шапочке.

Унылого вида субъект с докторской бородкой.

И снова - Кондитер в меховой своей кацавейке поверх красной рубахи, с бледным, плоским, точно непропеченный блин, лицом.

- Тут вся наша работка и есть! - И он улыбнулся Девочке, обнажив неровные желтые зубы.

Девочка ухватилась за прилавок. Мотнула головой.

- Что? - удивился Кондитер. - Ну, милая моя, другой работы не предвидится.

- Нет, - сказала она и пошла к двери, думая только о том, чтобы

не упасть, - голова у нее кружилась от голода. У самой двери она повернулась:

- Возьмите мои башмаки. Насовсем. Дайте хлеба.

Кондитер пожал плечами, усмехнулся, достал из-за пазухи ломтик кинул ей. Девочка сняла башмаки с бубенчиками, оставила их на пороге и вышла.

- Эй, пустобрехи! - крикнул Кондитер Графину с Кувшином. - Куда Девчонка пошла?

- Туда, хозяин, - сказал Кувшин.

- Именно так, вне всякого сомнения так, хозяин, - сказал Графин.

- Девчонка слишком много знает, - проворчал Кондитер, - пошлю-ка я следом Мохнатое...

Развалины старой пригородной больницы. Отсюда - шесть трамвайных остановок до края города.

Здесь - линия фронта.

От больницы остались одни стены, грязно-желтые, покрытые копотью. Три раза уже больница переходила из рук в руки. Сегодня ее снова отбили у врага и поклялись больше не отступить.

В глубоком подвале светло. В большой медной гильзе ярко горит масло.

Временами сквозняк относит пламя вбок, его язычок становится из вертикального горизонтальным. Кажется, он вот-вот оторвется и улетит в черную глубину подвала, вдоль его бесчисленных переходов, где всего несколько часов тому назад звучали выстрелы, раздавались проклятия и стоны.

Стены подвала сверкают наледью. Можно представить себе, как однажды здесь лопнули трубы и вода застывала тут же на стенах, образуя эту прихотливую сверкающую поверхность.

Под сводами подвала стоит рояль. Рояль старинный, редкий. Кто втащил его сюда, под эти своды - враги ли, наши ли, - неизвестно. Скорей всего наши, уходя, надеялись сохранить дорогой инструмент. Крыло рояля поднято, на полированной поверхности зияют дыры, расщепы, отблески пламени отражаются в ней.

Кавалер играет тихо, но сводчатые потолки усиливают звук, а ледяная поверхность стен искажает тембр, делает его неузнаваемым, словно это не рояль звучит, а какой-то другой, неизвестный доселе инструмент.

В подвале - бойцы, голодные, измотанные непрерывными боями; у стен раненые, в дальнем углу - тела убитых. Их надеются завтра

перевезти в тыл, а на худой конец похоронить тут же, во дворе больницы.

Вот уже несколько месяцев Кавалер странствует по всему фронту, опоясавшему город, - где на попутной машине, где на танке, где на лошади, а то и пешком или на лыжах. В землянках, блиндажах, траншеях появляется он неожиданно в длинной своей старой шинели с поднятым воротником. Он играет бойцам на маленькой флейте, что до поры до времени греется у него в кармане около самого сердца.

Сегодня впервые за долгое время он сел за рояль.

ТЫ БОЛЕН, МАЛЬЧИК

Хлебные катышки! Целых десять. Десять легких, маленьких хлебных мумий.

Я сижу сгорбившись, перед огнем, протянув к нему ладони, придвинув колени к самой топке. Там горит последний ящик комода, где лежали мои игрушки. Я держу за щекой хлебный катыш. Он словно каменный. Усохшее хлебное тельце безвкусно. Я воображаю его запах.

...Когда я очнулся, их осталось три, всего три! Неужели я съел остальные?.. И тут меня накрыл страх. Я отталкивал его, я говорил себе: "Нет, день еще не кончился, мама скоро придет, она просто очень далеко ушла". Я убеждал себя: "К чему волноваться - обстрела не было, бомбежки тоже". Я развернул еще один катыш и сказал себе: "Если я съем его, она скорей придет. А те два пускай остаются. Два. Для ровного счета".

Этот катыш оказался чуть сладким. Я заплакал: Я подумал, что, уходя, мама как-то особенно вздохнула. Потом я вспомнил часы. Мне показалось роковым, что мама унесла единственные в нашем доме часы. Но и этого мало. Я вдруг вообразил, что мама бросила меня, оставила, ушла совсем.

До сих пор страшно, что я тогда подумал.

Скорей уйти из дому. Ни минуты не оставаться одному. Хоть кого-нибудь увидеть. Или услышать. Хоть одного человека. Скорей...

Негнушимися пальцами я с трудом застегнул пальто, натянул ушанку, в рукавицу сунул последние катыши.

Спускаясь по лестнице, я почувствовал неровности на перилах. Остановился. Еще раз провел рукой по шершавой, искарябанной ножом поверхности и вспомнил: это же Сережа вырезал! Наши инициалы!

Я нащупал в кармане Сережин нож. Я никогда с ним не

расставался. Потом еще раз провел рукой вдоль перил, повторяя про себя: "Чтоб все было, было, было..." Слово "хорошо" я не решался произнести даже про себя.

Был вечер. Предательская луна висела над городом, как сверхсильная лампа. Наш дом был слепой, почти без стекол и едва отражал лунный свет. Только в одном окошке из-под неплотно прилаженного затемнения мерцал слабый огонек. Это было подвальное окошко, скорей даже форточка. Там жили Кумачи.

Я спустился в утопанную ложбинку перед дверью, потоптался, постоял и понял, что не постучусь именно потому, что там тепло.

Оставалась Верка. Она жила в бельэтаже, по другую сторону двора. Я прислонился к стене, прежде чем постучать. Нащупал в рукавице катыши, вынул один, подумав: "Это Верке..." Но следом мелькнул такой расчет, что, если я дам ей этот катыш, она подумает: "У самого куча, а мне один принес..." И будет сторониться меня, как голодный сторонится сытого. Нет, сейчас, чтобы пойти к Верке, надо полное равенство. А мой хлебный катыш это неравенство. Даже если отдать ей оба, она подумает, что у меня в сто раз больше. Но оба я ей так и так не отдам. Потом мне стало стыдно: я вспомнил, как давно, осенью, Веркина мать звала меня есть студень. Я, правда, постеснялся, не пошел, но ведь она звала. "Отдам, - решил я с каким-то отчаянием - и тут же вспомнил маму. - Нет, не отдам".

Что-то все-таки тянуло меня туда. Я подошел к двери, постучал. Звук оттолкнулся от двери, прыгнул вверх, поскакал по лестнице, зазвенел в разбитом фонаре, зашуршал в чердачной пыли и, торопливо обрастая родившимися по пути откликами, вихрясь, вылетел на волю.

Рука не подымалась постучать еще. Потянул дверь на себя. Она подалась. Последним, едва ощутимым теплом дохнуло из глубины квартиры. Впереди мелькал огонек коптилки. Я двинулся туда, удивляясь, что никто не идет мне навстречу. Я слышал шаги, потом размытая тень промелькнула на стене, куда падал слабый отблеск огня. Я так обрадовался, что увижу живого человека! Шагнул смелее и переступил порог.

Посреди комнаты стоял Белый Полушубок. Коптилка освещала шарообразное пространство размером не больше маленькой тыквы. Но Белый Полушубок сам излучал свет и жемчужно мерцал в полутьме. Контур его терялись, и оттого он казался огромным.

Полушубок качнулся ко мне. Я успел заметить в глубине

комнаты кровать, гору одеял на ней и два мутных пятна, - может быть, лица?

Что с ними? Неужели они... А он, зачем он здесь?.. Ах, вот что! Он хочет украсть карточки! Продуктовые карточки!..

Догадка ошеломила меня. Я не мог пошевелиться. Белый Полушубок шел ко мне, бесшумно ступая, словно боясь разбудить людей на кровати. Мне даже показалось, что он поднес палец к губам.

Я не мог вымолвить ни слова. Ноги мои приросли к полу. Но рука сама потянулась к карману и вытащила Сережин нож. Я выставил вперед руку с ножом и закричал беззвучно, как во сне: "Карточки! Карточки!"

Он приблизился ко мне вплотную, так что мой нож почти коснулся полушубка. Я видел - он смотрит на мои губы и читает по ним: "Карточки! Карточки!" Я кричал с ненавистью отчаяния, кричал не только губами - всем лицом кричал... И он понял. Оглянувшись на постель, он сказал:

- Ты болен, мальчик. У тебя температура. Так и свихнуться недолго. Убери нож. Я пришел проведать жильцов. Это моя обязанность. Они спят. Уходи домой. Ты болен.

Когда он все это сказал, я освободился. Ноги мои пошли. Я повернулся и поплелся к двери.

Уже на дворе, увидев луну и четкий прямоугольник крыши, я прикусил губу - так противно дрожали мои колени. "Они спят, спят, - твердил я себе, - а завтра проснутся, и я их увижу..."

...Девочка шла и ела свой хлеб. Пока он не кончился, она чувствовала себя защищенной. Но вот от него и крошки не осталось, и хлебный запах скоро растворился в морозном воздухе - и тогда Девочка увидела вокруг себя циркульное белое пространство, в котором она была одна. Ей захотелось куда-нибудь спрятаться, хотя бы в тот пушистый сугроб, что больше и шире других. Чем ближе подходила она к этому сугробу, тем симпатичнее он ей казался. "Ну чем не ватный, - рассуждала она, погружая в него пальцы, - а мягкий-то какой!.." И, уже не раздумывая, она ступила в рассыпчатый снег. Он принял ее нежно, словно в нем и правда скопилось тепло и он не знал, кому бы его отдать. Тепло сочилось из глубины сугроба, окутывало ступни, коленки, вызывая приятную ломоту во всем теле, желание устроиться поудобнее и задремать.

"Как это я раньше не знала, что здесь так тепло, - думала

Девочка, до чего же хорошо, и есть не хочется..." Она по-хозяйски, неторопливо расположилась в сугробе, спиной и руками раздвинула стены своей норы и, согнувшись вся, присела на корточки, как, бывало, садилась на лесной поляне, если ей хотелось разглядеть поближе каких-нибудь жуков или муравьев. Руками она обхватила ноги, положила на колени подбородок и закрыла глаза. Но, даже закрыв их, она по-прежнему видела белое циркульное пространство, которое похрустывало, попискивало и шуршало, как этот уютный сугроб. "Белое и похрустывает", - сказала она сама себе и тотчас представила кухню, а в ней - себя, Матроса и Кавалера. Вся кухня была завалена большими кочнами, на широком столе стояло деревянное корытце, в котором Матрос рубил сечкой капусту, а рядом - большая дубовая бочка. Когда Матрос откладывал сечку в сторону, она влажно блестела. В запотевших стеклах играло холодное октябрьское солнце. Матрос рубил капусту и насвистывал старинную песенку. Рядом Кавалер - без камзола, в батистовой рубашке с кружевным воротником, - картинно отставив безымянный палец, тер на крупной терке морковь. Он очень старался, бедный Кавалер, но рука его то и дело срывалась, костяшки пальцев задевали за острые края терки, и Кавалер робко просил флакон с йодом.

Наконец Матрос засучивает рукава тельняшки, щедро посыпает капусту солью и, погрузив руки в корытце, начинает неторопливо и мерно перемешивать и тискать, тискать и перемешивать. Кухня наполняется мускулистым скрипом, горьковатым и зябким ароматом. Капуста под руками Матроса чуть темнеет и пускает сок. Вот Матрос поднимает руки, встряхивает ими... Какие они у него большие, чистые, красные!..

Теперь он присаживается передохнуть на край стола и закуривает свою трубочку, а чья-то рука в это время кидает в бочку крепкие, мутновато-красные клюквины. Одну в рот, другую в бочку. Одну в бочку, другую в рот. Ох и кисло же!

Матрос острым своим ножом вырезает для Девочки кочерыжку - самую крупную, самую белую, сладкую. Она вонзает в кочерыжку зубы и жмурит глаза. А зубы-то ломит, зубам-то холодно.

...И вот - словно дым попал ей в глаза - сначала щекотно, потом жжет. Что-то быстро сбегает по щеке, будто шарик теплый, и тотчас кожу на этом месте стягивает, как стягивает внезапный мороз полынью.

Если бы взглянуть сверху на эту белую площадь, то,

приглядевшись, можно было бы заметить, что один из сугробов не похож на другие. В нем образовался как бы маленький кратер, из которого медленно исходит и теряется в бесконечном черном небе струйка сугробного тепла. Потом этот непорядок был замечен патрулирующим по городу ветром. Он закружил смерчем колючие снежинки, поднял над сугробами мохнатое белое облако, подержал для острастки над землею и опустил вниз.

И если бы теперь какой-нибудь случайный путник оказался на этом отрезке земного пространства, он не увидел бы никакой разницы между сугробами. Они были похожи друг на друга, как братья-близнецы, а все вместе напоминали стертые зубы вымершего доисторического чудовища...

Кавалер никогда не решал заранее, что играть. Он прикасался губами к инструменту, закрывал глаза и словно нырял в прозрачную глубокую воду, безотчетно, ни о чем не думая. И, только возвращаясь оттуда на поверхность, он постепенно осознавал: это Шопен, это Бетховен...

Его музыкальная память была свободна, вкус и интуиция безошибочны. Каждый раз он играл именно то, что при данных обстоятельствах было самым необходимым и его слушателям, и ему самому.

Здесь, в подвале полуразрушенной больницы, он впервые почувствовал себя неуверенным, тяжелые своды тяготили его, давили на плечи, стены искажали звук. Сам этот раненый рояль, так неожиданно оказавшийся здесь, смущал его и лишал обычной свободы. Что бы он ни начинал играть, все не удовлетворяло его. Он бросал на середине, начинал новое... Он знал, что его окружали живые и мертвые.

Ему вдруг захотелось сыграть что-нибудь светлое, мажорное, как воспоминание о прежней жизни, мирное, как жужжание пчелы в цветке. Он осторожно оставил клавиши, достал флейту и прикоснулся к ней губами. Может быть, это был Вивальди, может быть, кто-то иной. Кавалер прикрыл глаза, и увидел нечто золотисто-зеленое и белое, и понял, что это дворец, и лето, и фонтаны, в которых дробится солнце, а значит, это скорее всего Петергоф, и, если пройти еще немного по аллее, а потом повернуть направо, откроется Монплеизир, а дальше - мелководье залива, где вода омывает черные спины сутулых камней.

И он стал входить в эту воду, жмурясь от солнца, которое

отражалось в воде, и с каждым шагом берег становился все дальше от него, и не было туда возврата, а вода манила и уводила, и флейта тихо горевала над водой, оплакивая прошлое, настоящее, будущее...

Кавалер вздрогнул, словно очнулся от сна, и осознал, что произошло с ним. Он ведь собирался играть совсем другое...

Стены подвала шевельнулись, глухо застонал рояль. Живые поднимались и уходили наверх, где снова разгорался бой.

МАТРОС И ПУЛЯ

Я решил: пойду встречать маму. Я знал, куда она пошла. Это было на Старо-Невском. Однажды, еще осенью, мы ходили туда с нею вдвоем. Я запомнил длинный деревянный забор, узкий пролом в заборе, грязную руку, принявшую от мамы две пачки махорки и протянувшую в тот же пролом полбуханки хлеба. Мама что-то стала говорить туда, в дырку, время от времени пугливо оглядываясь, - очевидно, она считала, что табак стоит дороже. По ту сторону забора кто-то выругался. Мы постояли еще немного и ушли.

В тот раз мы тоже шли пешком, и я хорошо запомнил дорогу, которой возвращались, но тогда была осень, а теперь - зима, и идти было куда тяжелее.

Улица лежала передо мною бесконечной белой протяженностью, освещенная зеленовато-синей луной. Луна безжалостно высвечивала все контуры, какие только находила под покровом снега. Я представил себя летящим над крышами и не увидел ничего, кроме разной высоты сугробов - от совсем маленьких, величиной с человека, до огромных, величиной с дом. Сверху город показался мне волнистой белой массой, вспученной в разных местах, точно кипящее молоко, которое внезапно, в кипящем состоянии, и застыло.

Потом я вернулся на землю и вновь поглядел вдоль улицы. Она представилась мне бесконечной снежной пещерой, над которой натянут черный полог, а сквозь него-то и светит безучастная луна. Тротуаров не видно, снег лежит почти на уровне окон первого этажа, отчего дома кажутся ниже, приземистей, чем на самом деле. Они прижимаются к земле, точно горбатые карлики. Трудно назвать улицей эту тропинку между двумя снежными валами, тянущимися бог знает куда.

Улица точно высохшая речка. От нее остался ручеек утлых человеческих следов. Тоненькие ручейки текут от каждого дома к главному руслу улицы, сугробы отвесными стенами встают над каждым, кто пускается в медленный и утомительный путь по чьим-то

оледенелым следам. Зато снежные стены так близко подступают к тропинке, что ослабевший путник невольно испытывает искушение опереться и отдохнуть минуточку-другую.

А если мама... Если она устало прислонилась к такой вот покатой сверкающей поверхности, и глаза у нее сейчас закрываются от усталости, и она начинает задремывать... И никого рядом!..

Я плелся по снежному коридору, оскальзываясь, падая, снова поднимаясь, отдыхая через каждые десять шагов и прислушиваясь.

Ног я не чувствовал, руки тоже заоченели, голова кружилась. Но я решил ни за что не возвращаться, пока не встречу маму.

И вот я не столько услышал, сколько почувствовал: где-то далеко, то ли в самом конце нашей длинной улицы, то ли еще дальше, за поворотом, возник едва слышимый, словно комариный писк, звук шагов. Слух, обостренный тревогой, не ошибся. Кто-то шел в мою сторону.

Я был уверен, что это мама. Я уже видел, вернее, мне казалось, что я вижу, как она медленно ступает в промороженные лунки следов, держась руками за отвесные стенки, и на них остаются следы ее рукавиц. Я уже видел на боку у нее противогазную сумку, застегнутую на красивую перламутровую пуговицу, а в сумке - матерчатый мешочек, а в мешочке - гречневую крупу... Мне уже казалось, что я трогаю мешочек и под моими пальцами перекатываются твердые трехгранные крупинки...

Скрип шагов становился все ближе. Раньше он покалывал уши тоненькими иголочками. Теперь похрустывал в них, точно гномик ходил там в валенцах, ходил и притопывал, ходил и притопывал.

...Сейчас она подойдет ко мне, возьмет за руку и спросит: "Почему ты здесь?" Я скажу: "Ты никуда больше не уходи без меня, ладно?" И она ответит: "Ни за что на свете, мальчик мой!"

И тогда я протяну ей оставшиеся хлебные катыши.

Мне до ожога в груди стало стыдно, что я съел их так много один. Мне казалось, что мама уже знает об этом и что я прочту осуждение в ее глазах.

Пусть, пусть, лишь бы это была она - там, впереди, за тусклой стеной морозного тумана!..

Я шел навстречу человеческим шагам, которые становились яснее и громче. Вскоре в глубине бесконечного снежного коридора я различил черную точку, которая с каждым шагом становилась все четче, росла, приобретая очертания человеческой фигуры. Иногда она

пропадала из глаз, скрывалась за каким-нибудь выступом, и вновь выныривала, и сама уже была крупнее, а значит, ближе, и я не испытывал ничего, кроме радости, - ни страха, ни голода, ни стыда. Я был уверен, что это мама.

Потом в двух шагах от себя я увидел бушлат - пуговицы тускло светились в лунном молоке, - увидел лицо, обтянутое бронзовой кожей, сухо блестящие внимательные глаза, трубку, застывшую в зубах...

Я опустился на снег.

Матрос поднял меня, взял на руки и понес. Он шел уверенно, как человек, который хорошо знает дорогу, и визг его кованых башмаков был исполнен такой же решительной силы, как визг пилы, вгрызающейся в дерево.

Щеки мои тронуло живое, летучее тепло. Я открыл глаза.

Я лежал на кровати в нашей кухне. Огонек коптилки вздрагивал, точно последний лепесток облетевшего цветка. В плите трещали дрова - настоящие поленья! Рядом сидел Матрос и набивал табаком свою трубку.

- Согрелся? Ну и слава богу, - сказал он и, показав чубуком трубки на пылающие дрова, добавил: - Я вырыл их из-под снега, там немало этого добра, если потрудиться... - Он протянул к огню озябшие руки.

- А где твой перстень? - спросил я.

- Перстень... - Матрос несколько раз согнул палец, на котором я видел след от перстня. - Мы ушли с корабля в морскую пехоту, - тихо сказал он, а корабль наш разбомбили, прямо на рейде. Он пошел ко дну со всем скарбом. Мой сундучок тоже теперь на дне.

Матрос помолчал, глядя в огонь. Выпуклые глаза его ярко блестели, лицо было как выжженное поле - гладкое, сухое, цвета кованой меди. Лицо и руки у него были такие, словно он умыл их в пламени костра.

- В первый же день войны я убрал перстень в сундук, - сказал Матрос. Он пожал плечами: - Зачем мне теперь этот перстень?.. Помогая всем, не можешь порой подать руку одному. Так устроена война. - Он поглядел на меня, желая удостовериться, понял ли я его, потом медленно затянулся и похудел еще больше, а в трубке зашуршал, затрещал, задвигался табак... Как помочь одному? - Он повернулся ко мне, он спрашивал, а я не знал, что ответить... - Надо помогать всем, - сказал он, - другого выхода нет.

- А как же быть одному? - спросил я.

Он словно не расслышал моего вопроса. И взглянул на часы.

- У моего папы были такие же часы, - сказал я и заплакал.

- Не плачь, - сказал Матрос, - еще рано и нет повода для беспокойства.

Он сказал это веско и как бы мимоходом.

- Послушай... Мы сидели в землянке, когда пришла весть, что корабль затонул. Вот где в самый раз было заплакать, но мы не заплакали. Перед этим мы отбили десятую атаку. Нас осталось мало. Но и враги устали. Они упали в сон. Мы слышали их тяжелый храп за пеленой снега, но сами не могли уснуть. Мы ждали одиннадцатой атаки и знали: она может быть последней, нас слишком мало. Все сидели и молча грызли свои сухари. Только я не грыз. И еще капитан. Вот капитан меня и спрашивает: "Ты почему не грызешь сухарь?" - "Не хочу", - говорю. "Грызи, Матрос, - приказывает капитан, - и думай, что ешь мясо". Я кивнул, но сухарь не тронул. Он говорит: "Знаю, Матрос, почему ты не ешь сухарь. Бережешь. Для кого бережешь?" Помолчали. Потом капитан говорит: "А я вот больше никого не вижу во сне. Я уже не верю, Матрос, что они есть на свете". - "А я верю". Это я про себя сказал, чтобы не обижать капитана. "Ну, вот что, Матрос, - говорит мне тогда капитан, - возьми-ка еще и мой сухарь и не спорь, голубчик, все равно у меня зубы болят. Иди в город, пока враг спит". - "А сколько он спать будет?" - спрашиваю. "Враг будет спать до рассвета, Матрос, потому что он спокоен, враг, он знает: патроны у нас на исходе, людей мало, подкрепление едва ли подоспеет... Так вот, сроку тебе до рассвета, Матрос. А приказ мой будет такой. Там, в городе, в тяжелом льду зимует корабль. На корабле адмирал. Скажи ему так: брат, мол, ваш, капитан, просит - пускай главная пушка жахнет за минуту до рассвета. Иначе, скажи, крышка нам". "Разрешите идти?" - говорю. "Погоди, Матрос. Вот тебе напоследок три вопроса. Первый: что есть самое трудное, Матрос?" - "Самое трудное, говорю, - это подойти среди бела дня к вражескому флагману, да выбрать такой час, когда ихний комсостав кушает, да встать с ними борт о борт, да выстроить свою команду на шканцах, да чихнуть разом - чтоб они подавились, чертовы дети!.." - "Так, хорошо, Матрос. А вот скажи ты мне: что самое дорогое?" - "Военно-морская флотская дружба! Вот что самое дорогое". - "И это ладно. А теперь последний: в одной стороне - кисло, в другой - горько, в третьей - солоно, а в четвертой - сладко. Куда пойдешь?" -

"В горькую!" - "Ну, молодец, Матрос. Вестовой! - кричит. - Чарку!.." Поднес мне чарку капитан, пожал руку: "Теперь иди".

- Был ты на корабле? - спросил я Матроса. - Видел адмирала? Сказал про главную пушку?

- Был. Видел. Сказал. Да только не сразу согласился он.

- Как не сразу?

- А вот так... "Давай, - говорит, - Матрос, рассуждать будем. Ежели, - говорит, - я жахну, то брату своему и людям его помогу. Но себя обнаружу".

- Испугался! - крикнул я. - У, трус!

- Не спеши, - усмехнулся Матрос. - "Себя, - говорит, - обнаружу. А где я стою, ты видишь? Посреди города стою. Меня начнут бомбить - городу беда. А ему и так - хуже некуда". Я говорю: "Ладно, пошел я тогда, а вы помяните на рассвете ребят наших и брата своего, капитана, с ними вместе..." Адмирал как гаркнет: "Ма-алчать! Я еще не кончил! Давай, говорит, - Матрос, с другой стороны подойдем: а если я не жахну из главной пушки? Сковырнет тогда враг вас одиннадцатой своей атакой и встанет еще ближе к городу. А ближе-то уж и некуда. Придется жахнуть. Очень жаль, но придется. Так и передай брату: жахну, мол. Мои артиллеристы в муху попадут, если мечена..."

- Как это "мечена"? - спросил я.

- Очень просто, - сказал Матрос. - Пометят муху, посадят посреди леса и жахнут. Мухи и нет.

Матрос затянулся, выпустил дым, и в кухне словно теплей стало. Он повернулся ко мне:

- Как думаешь: что на свете самое трудное?

- Голод, - сказал я.

- Э, нет, - сказал Матрос. - Трудней всего - это когда у тебя есть хлеб, а у друга твоего нет. А помочь ты ему никак не можешь. А что самое дорогое?

Я подумал про маму и папу, и мирный дом, и чтобы часы ходили на стене, и гречневая каша с молоком... Наш дом увиделся мне таким теплым, уютным, переполненным душистыми и прекрасными запахами еды...

- Ты прав, - сказал Матрос, - но все будет хорошо. Ну, а чего ты сейчас больше всего хочешь?

- Чтоб мама вернулась скорей и...

- Вернется, - уверенно сказал Матрос. - А что "и"?

- Хлеба хочу, - сказал я.

- Эка беда, - сказал Матрос, - поможем... - Он достал из кармана пару ржавых ржаных сухарей. Подержал в руке, подумал о чем-то. Потом протянул. Глаза его в эту минуту были неподвижны и взгляд сосредоточен на чем-то не внешнем. Кожа на скулах по-прежнему багровела, но теперь уже не от мороза - от жары.

Я сжал сухари. Они обожгли мне пальцы.

- Один тебе, - сказал Матрос, - а другой Верке. Понял?

Я опустил глаза.

- Ну, держись, - сказал Матрос. - Прощай, мне пора.

Он встал.

- Подожди! - закричал я. - Посиди хоть капельку! - Мне так не хотелось оставаться одному. - Посидишь, ладно?

- Нет, - сказал Матрос, - не могу. Меня пуля ждет.

- Кто? - не понял я. - Кто ждет?

- Пуля, - повторил он.

Я смотрел на него так, что он сказал:

- Ладно. Еще трубочку выкурю и пойду. Понимаешь, какая штука получилась... Выхожу я из землянки. Иду напрямиком в город. Прошел шагов двести - пуля летит. Если б руку протянул - моя была бы. Пошел я быстрее. Не успел пройти и ста шагов - вторая догнала. Видишь... - Матрос повернулся ко мне левым плечом - бушлатное сукно было разодрано на рукаве. - Я еще быстрее пошел. Вижу - третья летит. Прямо в меня. Я понял, куда она целит, и кричу: "Стой!" А она летит. Я опять: "Стой, дрянь этакая!" Остановилась. Не то чтоб совсем, а на одном месте крутится и дрожит вся, так ей не терпится. Я говорю: "Послушай, пуля, мне обязательно надо в город попасть. Смертельно надо!" - "А мне, - говорит пуля, - тоже смертельно надо... в тебя попасть. И потом, я вообще ни с кем ничего не обсуждаю, это противно моей натуре. Делаю дело, и точка. Некогда болтать". - "Тебе некогда и мне некогда, - говорю, - так, может, договоримся?" - "Тебя предупредили два раза, - сказала пуля, - сам виноват. Не мешай мне выполнить свой долг. Повернись, как был, левым боком". - "Послушай, - говорю, - пуля, я тебя понимаю, у тебя свой долг. А у меня свой. Давай договоримся. Я вернусь. Сделаю дело и вернусь. До рассвета. В ноль-ноль буду здесь". - "Чудовищно, - прошипела пуля, - в жизни такого не бывало, чтобы нас останавливали на лету!.." - "Ну так будет", - говорю. - "А ты не обманешь?" - спрашивает пуля. Тут я не выдержал: "Дура ты, куда от

тебя денешься!" - "Что верно, то верно, говорит, - под землей достану". Договорились, значит, и пошел я в город, а она там осталась, в чистом поле. Я когда в город вошел, оглянулся - вижу, белый кружок. Это она. Ну, брат, пора мне. Прощай...

СЛАДКАЯ ЗЕМЛЯ

Я душил Мохнатое. Оно хрипело, оно извивалось в моих руках. Напрягаясь до тошноты, я сжимал в руках то, что мне казалось его шеей, жесткое, волосяное, едко пахнущее, - надеясь добраться наконец до кожи, под которой глухими толчками бродит кровь. Но всякий раз, когда мне оставалось одно, всего лишь одно усилие, одно движение до цели, - она таинственно отделялась от меня, ровно настолько, чтоб все началось сначала. Наконец я сдался. Я выпустил из рук Мохнатое. И тут - неожиданно, ясно, отчетливо - прозвучал мой голос. Что я сказал, не знаю. Но голос прозвучал. Тотчас я стал подниматься из каких-то темных глубин, но не сам подниматься, а на чьих-то сильных руках... Эти руки положили меня на мягкое и теплое, прошлись по моим глазам легко и влажно. Я услышал:

- Отпустил тулупчик-то...

Я с трудом повернул глаза - им больно было поворачиваться - и увидел свои руки, синие, худые руки... Рядом со мной в тулупчике стояла тетя Маша.

- Полегчало? Тихо лежи.

- Мама...

- Здесь мама, спит. Умаялась, тебя согревавши.

- Где спит?

- Да вона.

Я не смог повернуть глаза. Я видел над собой низкий, закопченный потолок, понимал, что это подвал, где жили Кумачи, и я поверил, что мама рядом. И, уже погружаясь в сон, я еще раз на мгновение очнулся:

- Матрос... Матрос где?

- Ушел матрос.

- Ушел?!

- Давно уж.

- Куда?

- Эвон чего! А я откуда знаю? На войну ушел. Спи.

Он был. Он ушел. Он был. Он ушел. Он был...

Сплю, сплю, сплю...

Первыми проснулись мои пятки. Это была легкая, ни с чем не

сравнимая щекотка, которую мог ощутить лишь тот, кто промерз до мозга костей. Словно тончайшими волосинками водили по моим пяткам, но отдергивать их не хотелось: сквозь каждую волосинку в пятку капало тепло.

Оно именно капало - медленно, постепенно. Мне не хотелось ускорять ход тепла, я знал, что это тепло, что его становится все больше, что идет оно все дальше и что источник его неистощим.

Я удивленно внимал своему телу, слушая тепловые токи, что струились в него. В пустую оболочку мою входило тепло, и, как только оно заполняло какую-то часть меня, там тотчас снова появлялись кости и все остальное, что исчезло ночью.

Тепло подымалось выше. Мне не хотелось шевелиться. И думать не хотелось. Я слышал шаги в комнате и знал: это тетя Маша ходит в валенцах. Еще я слышал скрип печурочной дверцы, но лень, разлившаяся во мне вместе с теплом, была сильнее желания что-либо спросить.

Когда тепло миновало живот и стало распространяться дальше, я ощутил мгновенный острый голод. И тут же вспомнил: Матрос дал мне два сухаря! И еще вспомнил: они ожгли мне ладонь своими жесткими краями.

- Тетя Маша... - Я остановился. А вдруг сон?.. А если и того хуже если бред?.. Но ведь она сама сказала ночью: был и ушел. - Тетя Маша, а Матрос...

- Матросик сухари тебе оставил, - быстрым шепотом подхватила она около моего уха, - вона под подушкой. Я спрятала, покуда проснешься.

Я протянул руку, нащупал сухари, и лицо мое охватил жар - страх, удивление, радость смешались во мне.

- Где мама? - спросил я, опомнившись.

- За хлебушком стоит.

Увидев мой блуждающий по комнате взгляд, который искал какого-нибудь малого доказательства, тетя Маша, поняв значение этого взгляда, подняла в руке полосатый мешочек:

- Эвон, гляди... Гречка! Пощупай.

Я пощупал. Граненые зерна выпирали сквозь материю.

- Матросик-то без чувства тебя принес. Всю ночь бредил. Думали, кончишься.

- Про Сережу он говорил?

- Про какого еще Сережу?

- А про пулю? Про пулю говорил?
- Про какую такую пулю? Никак опять бредишь?
- А про что он говорил, про что?
- Потерпи, говорит, мама, скоро жажнем.
- Жахнем?!
- Ты сухарика-то, сухарика куси, а я сейчас кипяточку дам...
Кажись, снова жар...

Острым сухарем я коснулся своей горячей щеки. Он принес. Он успел. Я лизнул сухарь. Он был соленый. И кислый. И сладкий. И даже горький. Он был.

- Ребята где? - спросил я про Кумачей.
- Васька на посту стоит, у ворот. Коля с Пашей за сладкой
землицей ушли.
- За какой?
- За сладкой. Неужто не знаешь?

Нет, я знал. Осенью под бомбами горели продуктовые склады на окраине города. Горел сахар. Огромные запасы. Вся земля пропиталась сахаром. И замерзла. Теперь люди ездили туда на саночках за сладкой землей.

Жалобно запела печурочная дверца. Голова моя становилась все тяжелее, все больше. Она стала как огромный полый шар. Меня втягивало в него. Я еще хотел что-то спросить, очень важное, но что?.. Мысли сделались вязкие.

- Ешь сухарик, ешь...
Я хотел спросить - но что, что?..
- Мама сейчас вернется...
Вернется, вер... вер...
- Верка! - вырвался я на миг из тяжелой вязкой глины, которая меня почти засосала. Каким-то чудом держась на краю, я торопился сказать: Верка! Где Верка? Ей сухарь! Он... принес... ей...

Какие-то слова шли ко мне от тети Маши, но, не доходя до меня, пропадали в той же вязкой глине. Только три слова я успел услышать и понять: "Верке - не надобно".

Всякий раз, когда я открываю глаза после короткого сна-забытья, я делаю какое-нибудь открытие.

...Вот мама сидит надо мной и плачет, а слез не видно, но видно, что плачет, и сильно. Она такая сухонькая, маленькая, прозрачная вся. Я хочу сказать ей: "Не плачь". опережая меня, она шепчет: "Я не плачу, не плачу..."

Во сне меня то и дело кто-то толкает. Я с трудом удерживаюсь на ногах. Во сне я на ногах.

...Вот Васька Кумач сидит на моей койке и с любопытством глядит на меня. Нет, не с любопытством. Нет, не на меня. Или на меня все-таки? Ах вот что, он глядит на мой кулак, из которого выглядывает кончик черного сухаря. И глядит не с любопытством, а с удивлением: откуда, мол?.. Прячу кулак под одеяло. Васька отводит глаза.

Внезапно могучий, будто подземный удар сотрясает дом. Подвал, где я лежу, сдвигается, мгновение висит над бездной и вновь мягко становится на прежнее место. Васькин голос из-под серой ушанки:

- Слышал? Во жахнули! Наши бьют, с корабля!

Так вот что меня толкало ночью! Жахнули, значит...

- Откуда сухарь-то? - спрашивает Васька.

- Матрос дал.

- Матро-ос?.. - Васька не верит.

- Вась, а правда Верка...

- Точно. Увезли уже.

- Укрой меня, - прошу, - холодно, еще чем-нибудь укрой...

Васька медленно встает, идет в угол. Долго там роется, перебирает какие-то тряпки. Потом укрывает меня.

- Батина пальтушка, теплая. Дай сухарика кусить...

Я молчу и крепко сжимаю под одеялом сухарь. Васька не отводит глаз и тоже молчит. Свой сухарь я уже съел. А это Веркин. Ей не надобно. Я говорю:

- Это Веркин...

- Ну? - Васька не понимает меня.

- На,куси, только до ногтя.

Я держу сухарь в своей руке и слежу, чтобы Васька не кусил дальше дозволенного. Это примерно половина. Он хрустит сухарем и говорит мне:

- Скоро Колька с Пашкой придут, земли принесут, варить будем.

...Еще просыпаюсь. Пахнет. Сильно пахнет. Чем? Жженым сахаром? Неужели сахаром?!

Мама держит над тазиком белую тряпку, тетя Маша осторожно сливает из кастрюли на тряпку черное, густое, дымящееся. Сквозь тряпку цедится жидкость.

- Эвон, липкая, - довольно говорит тетя Маша.

- Надо бы еще разок процедить, - советует мама.

- Чудная ты, - говорит тетя Маша, - нешто мирное время?..

Мама выжимает тряпку и сбрасывает с нее отжимку, которая рассыпается на железном листе около печурки, как песок или земля.

- Земля и есть земля, - говорит тетя Маша. - А ей-богу, мужики, сытые будем.

Сумерки. С потолка свисает проволока. На конце бельевой зажим. В нем лучина. Под лучиной ведро с водой. Угольки падают в воду и тихо шипят. Лучина озаряет подвал дрожащим светом. Диковинные тени колыхаются по стенам. Мы пьем черный сладкий кипяток. Подрагивает печурка, цвет ее таинственно розов, и, если долго смотреть на нее, может показаться, будто это зев огненной пещеры, в которой лежат несметные сокровища. Все пьют молча. Только вздыхают иногда от счастья. Еще слышно, как со свистом всасывает свой кипяток Васька. "Фс-с-с... фс-с-с..." Коля и Паша сидят рядом на лавке, они одеты одинаково - маленькие полушубки, темные катанки... Шапки только сняли. И кружки держат одинаково - обеими руками. Не спешат. Солидно пьют. Васька первым нарушает молчание:

- Сытная земля!

- Топор затупили, - говорит Паша, - льдуросло - беда...

Коле с Пашей мать дает еще по кружке.

- Добытчикам! - говорит она строго. Я не смею просить. Даже Васька не просит. Мама протягивает мне свою кружку:

- Не хочу больше, на...

Отказываюсь и беру.

Какого вкуса была та черная жидкость? Знаю одно: она была такой сладкой, что губы слипались. Она упруго вливалась в горло и заполняла все щелочки там, все уголки. Проникая дальше, глубже, она словно шептала: "Ты будешь жить, жить, жить..."

Какое "спасибо" сказал я за эту волшебную кружку сладкой черной бурды?

Разве что вот эти строки, написанные тихой сытной осенью сорок лет спустя в память о Кумачах.

Ночью я услышал разговор.

- Тревожусь я, Маша, сердце болит... Боюсь не выживет...

- Выживет, вот увидишь, я зря не говорю. Завтра еще землицы сварим, она сильная... - Тетя Маша помолчала и снова: - Я знаешь чего - обратно в деревню хочу ехать. Вот зиму переживем, заберу ребят и через Ладогу. У нас хата своя стоит заколоченная. Сад

одичал. Еще хочу цветы посадить - и розы, и георгины... У нас никто цветы не сажает, с огородом бы управиться, а я посажу, ей-богу посажу... Слушай, поехали - в деревню!..

Мог ли я думать тогда, что через семь лет попаду-таки в тети Машины Васильки!..

Помню знобкий рассвет на станции, огромный воз сена, рядом с которым в растоптанных кирзовых сапогах вышагивал Васька Кумач, - он встречал меня на станции и ругался, как взрослый, что сено у него не приняли - оказалось сырое.

Потом двадцать километров по узкой проселочной дороге, на вершине стога, рядом с небом, лицом в небо. Я уснул там и проснулся оттого, что движение кончилось. Открыл глаза, повернулся, увидел конек крыши, березу и услышал знакомый, милый тети Машин голос.

Помню кипящий самовар, хлеб пополам с картошкой и мой гостинец на столе - сахар, который тетя Маша наколола мелко-мелко и все стеснялись брать его.

Цветов она так и не посадила, все было недосуг, навалилась на нее бесконечная крестьянская работа.

Столько лет прошло!.. И следы Кумачей затерялись среди жизни...

Утром постучали. Тетя Маша вышла в прихожую. Заскрипела, запела схваченная морозом дверь. Я услышал голос Белого Полушубка:

- А что, в шестнадцатой - живы?

- Живы.

- Почему не отворяют?

- Они у меня. У них дров нет.

- Ладно тогда. Мальчишка болен. Голодный психоз. Мерещится черт те что.

- Выходим мальчика, - сказала тетя Маша. - А ты дверь-то прикрой морозу напустишь...

Она вернулась в комнату и, взглянув на меня, встрепенулась:

- Ты чего, а? Никак опять озноб?

И посыпались одеяла, ватники, шубейки... Долго еще колотило. Наплывало и душило видение вечерней Веркиной лестницы и квартиры.

Когда я был и вовсе маленьким, мне показывали желтовато-коричневую фотографию и, тыча в едва различимые на

ней лица, твердили: "Смотри, смотри, вон твой дедушка, а вон бабушка... Ах, тогда все еще были живы! Все... Смотри, вон твой маленький папа!.."

Я видел непохожего папу, который с трудом высовывал нос из-за стола, цепляясь за край ручонками, но я не видел мамы и не видел себя. И поскольку я нас не видел, я спрашивал: где мы? "Вас еще нет, понимаешь? Еще нет..." - говорили мне извиняющимся голосом, и это страшно меня злило. Как так нет? Сами же сказали: все были живы. Мы ведь живы!

Я тыкал пальцем то в одно бледно-желтое лицо, то в другое и кричал: "Это мама! Это я! Это мама! Это я!" Меня уговаривали: "Не кричи". Мне подсовывали другую фотографию, на которой - уж точно! - были мы с мамой. Но сейчас меня это не интересовало. Разве я мог допустить такую несправедливость: когда все были живы и так задорно, так дружно смеялись чему-то за круглым столом, осененным гигантским фикусом, - когда все были живы - разве могли мы с мамой не быть?!

Я водил пальцем по фотографии и кричал: "Вот мама! А вот я!"

Потом фотография еще больше выцвела и допускала самые вольные толкования. Тогда я закрепил за двумя особенно полюбившимися мне туманными лицами вечную обязанность быть мной и мамой. Меня несколько не смущало, что папа при этом оставался по-прежнему маленьким. Главное, все были живы. Все были вместе. И непрерывно веселились вокруг своего фикуса.

Но все это происходило в те далекие времена, когда я был совсем маленьким и верил в вечную жизнь.

БЕЛЫЙ ОГОНЬ НАД ПОЛЕМ

Их было трое - Кавалер и два солдата, которым приказали проводить его в соседнюю часть, чтоб он не заблудился и не попал в лапы врага. Был поздний вечер. Они шли ходами сообщения, низинками, тихо откликались на пароль, прятались за сугробами, за кустами, на открытых местах ползли по снегу.

Впереди шел землекоп. Он всю жизнь копал землю. Копал котлованы для фундаментов, колодцы, рвы, канавы, ямы, пруды, каналы, по которым бежала в пустынные земли вода. Землекоп был жилистый, ловкий, неутомимый.

Вторым шел наш Кавалер, а за ним попевал пожилой солдат по прозвищу Астроном. Он и в самом деле был астроном, всю жизнь смотрел в небо, наблюдал звезды. Его обсерватория была тут же на

холме у переднего края, разбитая и исковерканная вражескими снарядами.

Полчаса тому назад они вышли из душного блиндажа, где Кавалер играл им на флейте старинную рыцарскую балладу о Прекрасной Даме и лунных ночах, о непроходимых чащобах, за которыми прячется замок, где заточили красавицу. О рыцаре, который мчится, чтобы освободить ее, и много дней и ночей пробирается через леса и топи на своем коне. И ни воды у него, ни хлеба, ни проводника. Только меч, конь и верная любовь...

Сейчас они шли молча и думали, каждый о своем.

Астроном мечтал заново отстроить свою обсерваторию и установить в ней такой сильный телескоп, с помощью которого ему удастся наконец открыть новую звезду. Он прочел много старинных книг, сделал сотни необходимых вычислений и знал, в какой части неба искать свою звезду.

Землекоп мечтал побывать в том городе, у стен которого довелось ему сейчас воевать. Слышал он от людей, что много в том городе чудес. Есть, говорили, там церковь на сорока каменных столбах, каждый из цельного гранита и выше самой высокой сосны. А как эти столбы везли и как на место ставили - о том даже самые лобастые догадаться не могут. Еще говорили, будто церковь эта такая тяжелая, что каждый год на полметра в землю уходит...

Кавалер мечтал об одном: чтобы Девочка и Матрос были живы, чтоб все они снова встретились и зажили той прекрасной, тревожной и радостной жизнью, которой жили до войны. Пускай снова уходит в плавание Матрос, пускай снова пропадает из дому Девочка, - он будет искать ее и находить, и пускай так будет снова, и снова, и снова, и так - без конца, потому что сказка от повторения становится только яснее, чище, совершеннее, как морские камушки от постоянных набегов волны.

Они шли, а справа от них, в туманной мгле, притаились вражеские траншеи. Слева же расстиралось голое, густо засеянное пулями, холодное поле, что грозило обрасти по весне железной травой, если весна на этот раз вовсе не обойдет землю своим приходом.

За полем, в сиренево-сизом тумане лежал город. Он был так велик, тяжел и высок, что и невидимый, затемненный, притягивал к себе людей, как притягивает магнит маленькие железные частицы. Люди не видели его, но спиной знали: он за ними.

Внезапно посреди поля возник свет. Он возник над самой землей. Белая точка появилась из тьмы и замерла, словно кто-то разом ее остановил. Источник света был непонятен, но глазам Кавалера становилось нестерпимо больно, когда он глядел в ту сторону. Ему казалось, что белое пятно вращается вокруг невидимой оси, подобно тому как вращались огненные колеса во время дворцовых фейерверков, которые он имел честь посещать в прежней своей жизни.

Но если фейерверк вызывал у него чувство безмолвного тихого восторга, то здесь... Здесь было иное. Кавалер различил некое дрожание воздуха вокруг, а вместе с ним и непрерывное звонкое жужжание, словно оса заблудилась меж рамами окна и слепо бьется в душном узком пространстве, не находя выхода, не сознавая отчаянности своего положения и обрекая себя на верную гибель самоубийственными ударами об оконное стекло...

- Странно, очень странно, - сказал Астроном, - неужели новая звезда... Так низко над горизонтом?..

- Это не звезда, - откликнулся землекоп, - костерок тлеет на поле, или хибару какую снарядом подожгло...

- Нет, нет, это звезда, - убежденно сказал Астроном, - я чувствую. А вы как думаете? - спросил он Кавалера.

"Я думаю, я думаю, я боюсь думать..." - подумал Кавалер. Он старался не глядеть в ту сторону, потому что ему становилось все тревожнее, и тяжелые предчувствия охватывали его, когда он думал про Девочку и Матроса.

- И все-таки я хочу знать ваше мнение, - снова сказал Астроном.

- Я думаю, это... пуля, - сказал Кавалер, пересилив себя; так не хотелось ему произносить слово "пуля", как будто, произнесенное, оно становилось явью.

- Пуля?! Да вы что? Нет, вы неисправимый фантазер!.. - И Астроном даже отвернулся, возмущенный.

Кавалер стоял и не отрываясь глядел в ту сторону, откуда шел беспокойный свет. Он напрягал зрение, как будто пытался увидеть что-то невидимое сейчас, напрягал все свои силы, словно хотел заставить этот свет исчезнуть, и тот, казалось, уже поддавался, вот-вот совсем пропадет, но тут же оживал, вновь вспыхивал сильно и жадно, лишая Кавалера надежды.

Тогда он встряхнулся и мысленно выругал себя за промедление. Он зорко поглядел в сторону, откуда шел свет, и прикинул, сколько

времени понадобится, чтобы дойти туда. Прикидка была самая грубая и неточная - в темноте определить расстояние почти невозможно. "Ну, примерно, - сказал он себе, - да по глубокому снегу... Потом там могут быть овраги... Ах, какая глупость! Разве это имеет значение!.. Там, в поле, смертельная опасность, а я..." И Кавалер шагнул с узкой тропы в глубокий нехоженный снег.

- Куда вы? - вскинулся Астроном.

- Стой! - крикнул землекоп. - Стой, дурья голова!

Кавалер не слушал. Он продолжал идти прямо на свет, с трудом вытаскивая ноги из вязкого снега.

Землекоп догнал его и схватил за руку.

- Куда? - спросил, задыхаясь от тяжелого бега.

Кавалер ничего не ответил, только кивнул в сторону огня.

- Да ты... Да ты понимаешь, дурья башка?.. Тут заминировано все кругом, аж... - И землекоп очертил рукой широкий круг.

Кавалер опустил голову. Прошло несколько долгих секунд.

- Кажись, погасло... - неуверенно сказал землекоп.

Кавалер очнулся. Белое поле тянулось в бесконечную даль и где-то в неочерченной мгле сливалось с черным небом. Свет над полем погас. Слышен был шорох снега, косо летящего над землей. Кавалер снял шапку и долго стоял, закрыв глаза. Снег падал на его волосы и не таял.

"Блажной", - глядя на него, подумал землекоп, но шапку снял тоже.

"Прощай, - сказал про себя Кавалер, - прощай..."

В городе ударила пушка.

БАЗАР

Единственный в городе базар копошился на месте выжженного крытого рынка, чей обугленный скелет показывал из-под снега то одну, то другую свою кость. Базар извивался меж грязных, источенных желтыми воронками сугробов.

Нелепо топорщилось на веревке шелковое нижнее белье. Звенело на ветру, как стеклянное.

Яростно-бойкие женщины с подглазными опухольями во все лицо толкали Кавалера и молча предлагали ему из-под полы мутные подозрительные бутылки.

Мальчик в отцовском пальто до пят держал в руках белую блузку с украинской вышивкой по вороту. На щеках и на лбу у него были пятна копоти, что еще сильнее подчеркивало бледность и худобу

лица.

- Мамина? - спросил Кавалер, показывая на блузку. - Мама жива? Мальчик кивнул дважды.

- Сохрани это, - сказал Кавалер. - За табак больше хлеба дадут.

Он достал из кармана шинели пачку махорки. Курить так и не научился. Отдал мальчику. Не оглядываясь, пошел по базару.

...Тетка в пяти разноцветных муфтах - две на руках, две на ногах, пятая, как папаха, на голове - торговала кофейными зернами. Было их у нее на вышитой гладью салфеточке - двенадцать.

Старик в детской шубке, протертой до белизны, расставлял на снегу старинные фотографии в резных металлических рамках. Он склонялся над ними, кутая ноги в полосатое шерстяное одеяло, и печально, ни к кому не обращаясь, твердил: "Имел честь сидеть на руках государыни-императрицы... меняю на хлеб... Доверительная беседа с инфантой... меняю на хлеб..."

Скифские бабы, едва шевелящиеся серые холмы, разложили на серых полотенцах серые же лепешки.

Все здесь было жалким, продрогшим и не скрывало этого. Все терпело давно уже выше сил. И от чрезмерного своего терпения стало как бы ненастоящим, инопланетным, карточным.

Кавалер шел вдоль карточного базара, и ему казалось, что тот может рухнуть каждую секунду. Выдерни нижнюю карту - и все обрушится.

Базар был почти неподвижен, хождения людей по нему медленны, движения торгующих и менял - тягучи, как застывающий леденец. Зато ветер ходил, как хотел, по верхам, внезапно падая вниз, чтобы полоснуть железным клювом по беззащитной груди базара.

Наконец Кавалер увидел то, ради чего пришел сюда. Правда, это был не хлеб, а сухари. Но сухари - даже выгоднее. "Их надольше хватит Девочке", решил Кавалер.

Двумя ровными черными рядами лежали эти сухари на дне неглубокого чемоданчика, оклеенного голубыми обоями. Как видно, буханка, из которой они произошли, была отборная, ровная, гладкая. Нож-хлеботорез - остро отточен, рука режущего - тверда. Сухари получились один к одному, близнецы, чуть рыжеватые от духовочного жара, все в мелких круглых порах...

Кавалер задумался над чемоданчиком, размышляя насчет своих денег, какие тут цены, он не знал. Потом поднял глаза на торговца и увидел перед собой аккуратного старичка в железных очках и

круглой мерлушковой шапке. Старичок вежливо улыбался.

"Какой культурный, милый старичок, - подумал наш Кавалер, - как отдыхает взгляд, когда смотришь на это спокойное мирное лицо..."

Тут Кавалеру стало неловко, что он так долго и пристально смотрит на старичка в мерлушке. Кавалер пробормотал: "Простите..." - и отвел глаза в сторону. И тогда он увидел, что старичок торгует не только сухарями. На снегу, на старой, пожелтевшей скатерке, углы которой были изжеваны от частого завязывания узлом, в живописном беспорядке лежали разные предметы. При первом беглом взгляде на них сердце Кавалера глухо заныло: тепло чьих-то домов, рук и взглядов еще не остыло на всех этих шкатулочках, флакончиках, пепельницах, морских раковинах, пудреницах, подсвечниках, резных костяных ножах, тросточках, статуэтках, гребешках, украшенных перламутром; кожаных кошельках, шитых цветным бисером; медальончиках, веерах с японскими пейзажами, бархатных подушечках для иголок, никелированных и медных табличках с дырочками для шурупов и с затейливыми, вязью писанными фамилиями: Прудосвятский, Горностаев, Иванов-Плакучий...

Тут же находилась и шашка в серебряных ножнах с почерневшей, но четкой надписью: "Беззаветному бойцу"; и отлитая из бронзы тачанка с пулеметом и парой вставших на дыбы лошадей...

Все эти предметы, хоть и лежали рядом на мятой скатерти, застенчиво сторонились друг друга, всем своим видом показывая, что они не привыкли находиться рядом, не имели чести быть до сих пор знакомы.

Как замороженный глядел Кавалер на блестящую россыпь. Он даже забыл о сухарях, несчастный. Он любовно перекладывал взглядом каждую вещицу, и ласкал ее, и гладил, и вздыхал о чем-то...

Внезапно он вздрогнул. Взгляд его натолкнулся на маленький детский башмак. Он был украшен парой медных бубенчиков.

Кавалер наклонился и взял башмак в руки. Звон бубенчиков оглушил его.

- Где второй? - прошептал он. - Где второй, я спрашиваю?!

- Не могу знать, дорогой!

Кавалер попятился. На месте "мерлушки" стоял и смотрел на него в упор выпуклыми стеклянными очами могучий красавец кавказского типа.

- Где?! - И Кавалер сунул башмак прямо под нос красавцу.

Бубенчики жалобно звякнули.

- Чаво глотку дерешь?! - басом закричала на Кавалера невесть откуда взявшаяся баба в платке крест-накрест. Кавалер оглянулся - красавца как не бывало...

Не помня себя, Кавалер выхватил из-под шинели шпагу и замахнулся, как замахиваются палкой или кнутом.

- Ай! - взвизгнула баба и кинулась в сторону.

Шпага просвистела в воздухе. Что-то хрустнуло, треснуло, зазвенело.

- Граждане, убивают!..

Кавалер ухватил торговку за концы головного платка, и вовремя, потому что она как раз хотела скрыться в толпе. Но в то же мгновение он увидел что за бред?! - перед ним не баба, а унылый тип с докторской бородкой, в которую Кавалер и вцепился...

- Позвольте, позвольте, - заикаясь, повторяла "бородка".

При иных обстоятельствах Кавалер со стыда сгорел бы: ухватить за бороду пожилого человека! Но теперь... Теперь - нет! Кавалер изо всех сил дернул за эту бородку, и она осталась в его руке. А следом - будто чулок стянули - открылось лицо, гладкое как колено. Вернее, на нем было все, что полагается иметь лицу, но все какое-то несущественное и малоотличимое от ровной поверхности. Однако это лицо не лицо, открывшись перед Кавалером так неловко, заорало на весь базар нестерпимо острым голосом:

- Убивают! Граждане, помогите, убивают!..

Базар ожил. Зашевелился. Приподнял голову. Внезапный страх вспыхнул в его потухших глазах.

Сворачивались узелки. Раздувались противогазные сумки. Оттягивались глубокие карманы. Запахивались полы пальто. Подымались воротники.

Кавалер придавил торговца к стене. Это был брандмауэр, весь перламутровый, сверкающий от изморози. Торговец молча вырывался. Контур его фигуры впечатались в стену и казались огромными.

Люди, обессиленные, промерзшие до костей люди, переводили взгляды с торговца на Кавалера и обратно. Вмешаться у них не было сил.

В соседнем квартале упругой горошинкой запрыгал свисток. Ему ответил другой. Из-за угла показался патруль.

Торговец с силой толкнул Кавалера. Тот поскользнулся и упал,

неловко опершись на руку. Острая боль пронзила его. На минуту он потерял сознание.

Когда Кавалер очнулся, шел густой липкий снег. Усилился ветер, и началась метель. Торговец исчез.

Метель. Снег течет по карнизу кондитерской лавки. Снег живой и упрямый, он заполняет любую, самую малую выемку, ищет любого, самого малого отверстия, чтобы проникнуть между рамами. Снеговой барьер на стекле растет. Снежинки, цепляясь друг за друга, лезут все выше, выше и вот наконец находят щелочку между рамой и стеклом. Снег течет внутрь непрерывной струйкой. Кувшин и Графин стоят по пояс в снегу.

Г р а ф и н. Я чувствую, как холодеет мое горло. Еще немного, и я не выдержу. Умереть, не познав радостей семейной жизни!

К у в ш и н. Хоть бы ты сдох поскорей!

Г р а ф и н. Грубый мужлан!

К у в ш и н. Ну, мужлан. Зато выживу.

Г р а ф и н. Какая несправедливость! В принципе мы, графины, можем жить вечно. Нужно только одно: знакомство в научном мире. Попасть в музей, стать экспонатом, на худой конец инвентарной единицей... Практически это бессмертие!..

К у в ш и н. Заткнись! Идет кто-то...

Из снежной круговерти появляется Кавалер. Шинель на нем распахнута. Давно нечесанный парик сосульками свисает по обе стороны изможденного лица. Кавалер поднимает башмак над головой. Бубенцы звенят. Но как жалок, как ничтожен этот звук среди рева метели!

К а в а л е р. Отворите! Эй, отворите!

Кавалер стучит в окошко.

К у в ш и н. Чего орешь?

Кавалер задыхается от ярости.

К а в а л е р. Ты... Открывай немедленно.

К у в ш и н. Ладно, ладно, потише, а то последние кружева пообрываем.

Кавалер выхватывает шпагу.

К а в а л е р. Я проткну тебя, подлец!

К у в ш и н. Я непротыкаемый.

Г р а ф и н. Ваше сиятельство, хватит, хватит крови! Такая зима, такая война! Разойдемся мирно, радушно...

К а в а л е р. Мирно? Радушно? Где этот ваш бакалейщик,

кулинарщик, фальшивомонетчик?! Я напомним ему вкус моей шпаги! Как видно, он забыл его. Куда спрятали Девочку? Говорите!

Г р а ф и н. Помилуйте, ваше превосходительство, господин Кавалер, никакой Девочки и в помине не было! Какие сейчас девочки? Мрут как мухи! А что касается хозяина... Он уехал. Эвакуировался, так сказать.

К а в а л е р. Лжешь, подлый раб!

Кавалер ногой отворяет дверь в лавку, вбегает. Лавка ходит ходуном.

К у в ш и н. Посягает! На честных людей посягает! Сейчас квартального позову. Время военное, долго разбираться не станут. Раз посягает - к стенке!

На пороге Кавалер. В руке его два башмака.

К а в а л е р. Она была здесь. Была несчастная. Что он с ней сделал? Скажите!

Г р а ф и н. Идите, ваше благородие, идите... Никакой Девочки тут нет и не было. Да и зачем ей ходить сюда? Конфетами у нас больше не пахнет. Самим есть нечего. Идите, идите... Тихонечко, спокойненько...

К а в а л е р. А это откуда?

Кавалер показывает башмаки.

Г р а ф и н. Башмаки? Да на базаре что угодно купишь...

К у в ш и н. Чего с дезертиром толкуешь? Сейчас квартального крикну и порядок.

К а в а л е р. Это я дезертир?

К у в ш и н. А то кто же.

К а в а л е р. Будьте вы прокляты!

Яростно хлопает дверьми, лавка содрогается, вылетает стекло из окна, на котором стоят Кувшин с Графином. Графин падает с окна и разбивается. "Гибну!" - кричит Графин, но его уже никто не слышит.

К а в а л е р. Я буду искать! Я еще вернусь! Запомните!

Метель смыкается за его спиной.

К у в ш и н. Ненавижу! Вашего брата ненавижу! Тонкая материя, прозрачный как стеклышко, а поглядишь - той же дрянью налит. Благородный! Вот он, ваш благородный, Ка-ва-лер! С виду - ох, ах, не подступись, а у самого штаны в заплатках, чулки без пяток, штиблеты каши просят. Голь перекатная, а туда же - гордится! Чем гордится?.. Презираю! Голоштаных презираю. Перчатку штопаную норовит в нос сунуть, шпажонку елочную в бок тычет... Дай срок, кончится

треклятая зима, найду себе подходящую Кувшиню - рылом чтоб вышла, шея что дышло... Дело заведу, квасом, пивом торговать начну, дом построю, у речки, на горке, чтоб лесок рядом...

Из-за угла, крадучись, словно кот, появляется Кондитер.

К о н д и т е р. Размечтался? На речку захотел? Службу забыл? Вот я вас! Где Графин?

К у в ш и н. Да тут стоит, куда ему деваться... Ой, где ж он? Смотри-ка, разбился, стеклотара несчастная! Кавалерка его пихнул, не иначе!

К о н д и т е р. Туда ему и дорога. Одним дармоедом меньше.

К у в ш и н. Точно. Давно пора. Все в благородные метил, вот ему и вlepил благородный-то...

Кувшин хихикает.

К о н д и т е р. Где Кавалер?

К у в ш и н. В хате хулиганил, башмак второй нашел, грозился всяко, побежал девку искать...

К о н д и т е р. Этого ушехлопа я вокруг пальца сто раз обведу. Дело - на ветер, следы метель заметет, а я себе местечко теплое присмотрел. Шутить не привык, еще медалью наградят. Вот увидишь.

К у в ш и н. А я-то как же, хозяин?

К о н д и т е р. Куда я, туда и ты.

К у в ш и н. Вот это по-нашенски!

Метель усиливается. Ветер налетает со всех сторон сразу, раскачивает кондитерскую лавку, отрывает ее от земли и, закрутив штопором, уносит. В белой мгле исчезают Кондитер и Кувшин.

СЛЕДОВ ЧЕЛОВЕКА НЕ ОБНАРУЖЕНО

Обстрел начался рано. Снаряды ложились рядом с нашим домом. "Ирода окаянная!" - выругалась тетя Маша, оделась и ушла. Зато тотчас пришел Васька, который в тихую погоду дежурил вместо нее у ворот. Васька сказал:

- Наш корабль в вилку берут, сволочи.

Иногда снаряды пробивали лед на реке. Тогда мы слышали шум падающей воды и стозвонный грохот льда.

- Очередь в убежище загнали, - ворчал Васька, - теперь хлеба долго не получим...

Наш корабль молчал. Он словно притаился.

- Если попадут, - сказал Васька, - я к мамке бегу, понял...

Когда он это сказал, я почему-то начал считать про себя. Я считал не останавливаясь, торопливо, задавая себе от взрыва до взрыва

равные десятки, страшно волнуясь и боясь не поспеть в счете. Васька глядел в окошко, но что он там мог видеть - непонятно. Окошко поросло густым слоем розового снега. Розового оттого, что с улицы пробивалось солнце.

Я все считал.

Потом что-то расколосось снаружи. Солнце било мне прямо в глаза, и ничто ему не мешало. Холод охватил лицо. Запахло дымом.

- Пихай подушку! - кричал Васька. - На!

Я схватил подушку, стал запихивать ее в окно. Осколки стекол, оставшиеся в раме, с треском рвали наволочку.

Я вышел во двор следом за Васькой и увидел снег в черных крапинах. Поднял голову - окно на третьем этаже светилось, точно жерло раскаленной печи. Это была квартира профессора Иванова-Плакучего. Квартира, в которой жил Белый Полушубок. На дворе стояли люди в брезентовых робах и рукавицах. Из-под брезентовых же капюшонов виднелись темно-красные обветренные лица, а один стоял с откинутым капюшоном, и на ушанке у него сверкала золотая "капуста".

- Сам-то дома был? - спросил этот человек.

- С полчаса как пришел вроде, - ответила тетя Маша.

Из парадной вышел моряк. Его лицо было мне знакомо.

- Ну что, Домотканов?

- Детально все сгорело, товарищ лейтенант.

- Детально... Ну что-то хоть осталось?

- Прах, товарищ лейтенант.

- Зола, вы хотите сказать?

- Так точно, прах, - упрямо повторил Домотканов.

Я его узнал. Это был моряк, который привел Верку на корабль, когда у нее украли карточки.

- Прах, прах, - передразнил его лейтенант, - а человек?

- Следов человека не обнаружено! - доложил Домотканов.

Белый Полушубок исчез. Был он в квартире или нет - никто точно не знал. Его не разыскивали, по нем не плакали. Кто же он был? Не в моем воображении, а в жизни? Не знаю. И никогда уже не узнаю.

Лестница усеяна тончайшими черными лепестками. Я поднял один - на нем выпукло проступали буквы. Буквы не сгорели. Сгорели книги. Остались буквы-сироты. И шорох под ногами.

С площадки мы сразу увидели всю внутренность квартиры,

потому что дверь сгорела. Домотканов был прав: там вообще ничего не осталось - уголья и прах. Словом, ничего. Уголья жарко светились. Не осталось и кусочка удивительной старинной мебели, где один только буфет был точно сказочный город: с колоннадами, площадками, переходами, лесенками, глухими дворами, таинственными подворотнями, вознесенными к небу - потолку - остроконечными башнями...

А кресла, похожие на добрых старых дядюшек, что рады-радешеньки подержать тебя на коленях, - где они?.. А зеркало, в которое могли бы смотреться великаны... Я видел голые, закопченные стены и опавшие около них кучи тускнеющих углей. Куча побольше - буфет. Куча поменьше - комод... Повсюду высились и затаенно блистали горки углей. Посреди квартиры вздымалась пирамида пепла.

- Эй! - закричал Васька. - Чего это? Смотри!

Легкий пепел опал сам собой, и под ним обнаружился кувшин - поливной, глиняный, совершенно невредимый. Его лакированные маслянистые бока, словно живые, отражали игру огня. Несмотря на ровный жар, что струился из квартиры, мне стало знобко.

- Эвон, стоит! - с восхищением сказал Васька.

- Разрешите взять, товарищ лейтенант? В кубрике сгодится.

- Отставить, Домотканов! Из-за паршивого кувшина жизнью рисковать. Приступайте к ликвидации последствий артобстрела.

- Есть приступать, - скучно сказал Домотканов.

Тут я увидел, что все, кто прежде был на дворе, сгрудились теперь на площадке и протягивают иззябшие руки к жару, который волнами накатывал из пустого зева сгоревшей квартиры. И мы с Васькой тоже тянули руки к теплу...

- Стоит, зараза, - с досадой сказал Домотканов и, подождав, пока лейтенант спустится вниз, шагнул за порог.

- Назад! - крикнула тетя Маша. На это только ее и хватило.

Домотканов смущенно улыбнулся, махнул рукой и, сразу став необычно строгим, сказал стоявшему рядом матросу:

- Приступить к ликвидации, Лобанов. И чтоб детально!

ЛЕГЕНДА О МУЗЫКАНТАХ

Они жили здесь, в нашем городе, в старинном многоэтажном доме. Я не стану называть улицу, где стоял дом, потому что, когда я рассказываю эту легенду старым ленинградцам, блокадникам, каждый из них говорит: "Я помню, они жили на нашей улице..." - и

приводит такие доказательства, которым нельзя не верить. Поэтому я не стану называть улицу, да это и не важно. Они жили в нашем городе, эти музыканты, - вот что главное.

Никто толком не знал, как они здесь появились и откуда пришли. То ли остатки военного оркестра, то ли артисты филармонии, не успевшие эвакуироваться.

Рассказывали, что один из них, высокий флейтист в старой, опаленной шинели (кто-то видел у него шпагу на поясе, но другие отрицают это), собрал к себе умиравших от голода и холода товарищей-музыкантов.

Старый особняк, окна с затейливыми фронтонами, крест-накрест заклеенные бумагой, из окон торчат трубы буржук. Забитые окна первого этажа. Бойницы, амбразуры, мешки с песком, дзот на углу. Дом-крепость. Дом музыкантов.

Они играли каждый день, несмотря на бомбежки, голод и стужу. Никто не помнит точно, сколько их было. Кто говорит - пять, кто - шесть. Большинство, однако, сходятся на том, что музыкантов было четверо: трубач, флейтист, кларнетист и скрипач.

По утрам музыканты выходили из дому, обмотанные поверх шинелей чем-то теплым, и шли по узкой тропке, протоптанной в снегу, затылок в затылок, осторожно...

Так же, гуськом, возвращались они обратно. Последним всегда шел флейтист - он следил, чтоб никто не отставал и не упал в снег.

Люди из окрестных домов, чем бы ни занимались - работали, топили свои печурки, просто лежали без сил, - каждый день ждали, когда из высокого старого дома зазвучит музыка. Сначала музыканты будут пробовать свои инструменты - тихо, медленно, робко. Потом флейтист поведет мелодию, словно подымаясь в гору и увлекая за собой товарищей. И вот уже зазвучит труба, а там и кларнет, и, наконец, нежная скрипка вступит, и люди в окрестных домах воспрянут и, может быть, поверят, что все еще впереди, что стоит только собраться с силами, перетерпеть...

Первой умолкла скрипка. Несколько дней люди ждали ее, но она молчала. Потом видели, как музыканты увезли на саночках маленькое тело скрипача.

В то утро мороз был фиолетов.

Потом замолчал кларнет. И снова люди провожали глазами саночки, которые тащил по снегу, едва передвигая ноги, старый трубач. Флейтист шел следом и, преодолевая мороз и ветер, играл на

флейте Шопена.

Теперь их осталось двое. Они играли утром, днем и вечером, почти не выходя из дому.

Чаще всего они играли простой и суровый военный марш. Как видно, на сложные вещи уже не хватало сил.

Музыка продиралась сквозь ледяную коросту зимы. Дом музыкантов стоял униженный гигантскими сосульками, точно сказочный дворец. Диалог трубы и флейты был знаком каждому горожанину, и каждый понимал его по-своему, а все вместе понимали: город отдавать нельзя. Лучше умереть, чем отдать.

Начинался обстрел, но между разрывами снарядов, ложившихся все ближе и ближе, слышно было музыку: они не уходили в убежище.

Наступил день, когда флейта осталась одна. Еще раз проскрипели саночки по синему снегу, увезли трубача.

Но вечером люди слышали весь оркестр - и трубу, и кларнет, и скрипку, и флейту, только звучали они по очереди, а исполняли одну и ту же мелодию. Так флейтист прощался со своими товарищами.

Дом музыкантов замолчал.

Говорили, флейтист ушел на фронт.

В глазах тех, кто рассказывал мне эту легенду, я читал и иной конец, но ведь никто никогда не видел флейтиста мертвым, а если флейта замолчала... Не мог же он, похоронив товарищей, остаться один в пустой, замороженной квартире! Ясно, он ушел оттуда. А куда было идти ему, как не на фронт?

С тех пор прошли долгие годы. Иногда в тихую мирную зиму упадут вдруг жестокие дни с лиловым морозом и ножевым ветром, когда дыхание захватывает и кажется, сейчас оно пресечется в груди, и нет тогда спасения от этого ветра нигде - ни в городе, ни в лесу, ни под крышей в жарко натопленном доме...

В такие вот дни и особенно в такие ночи люди слышат иногда знакомую флейту. Дикие порывы ветра приносят и уносят ее короткий плач, но услышать его дано лишь тем, кто вынес и пережил много лет назад ту роковую зиму. Все остальные слышат только ветер, один лишь ветер, завывающий в трубах.

ЭПИЛОГ

В новом районе Ленинграда, где дома так похожи друг на друга, что порой кажется, будто не идешь, а топчешься на месте, ничто, кроме поросших травой дотов, не напоминает о прошлом.

Порой я испытываю сильную тоску по старому городу. Тогда я

бросаю все дела и еду на Петроградскую сторону, туда, где среди искривленных временем, огромных, корявых деревьев по-прежнему тихо живет древняя крепость.

Стоит из окна трамвая увидеть ее приземистые темные стены, чувство причастности охватывает меня.

Я приезжаю в крепость зимой и летом, осенью и весной, в метель и в дождь. И всегда она помогает мне, возвращает внутреннюю устойчивость - на рассвете, в сумерках, среди яркого дня. Я люблю строгость ее очертаний, тишину собора, неторопливое качание иглы, этого маятника наоборот, что гонит время назад...

Зимой деревья в крепости, сбросив листву, стоят ярко-черные. Изгибы их ветвей неповторимо резки, и смотреть на них непривычно и больно, как на голую, неприкрытую правду.

Летом можно часами лежать в траве за крепостной стеной или сидеть на смоляных сваях, смотреть, как обтекает их густая маслянистая вода, слушать, как картаво кричат вороны, возвращаясь к своим гнездам; как звенит трамвай на повороте; как смеются дети, играющие под деревьями в пятнашки...

Здесь, в крепости, особенно чисто, как-то освобожденно думается о тех, кого нет с нами, кого отняла война.

Кто уходит от нас - не исчезает бесследно. В этом великая тайна и оправдание бытия. Он остается с нами в самом своем сокровенном. Мы смотрим на мир его глазами, сверяем с ним свое дыхание, сердце, поступки. И чем дальше уходит он от нас в каждодневном земном существовании, тем ярче сияет его душа на небосклоне нашей памяти.